

Юз  
Алешковский

Собрание  
сочинений  
в шести  
томах

Т. 4



Юз Алешковский

**Собрание сочинений  
в шести томах. Том 4**

«Издательские решения»

## **Алешковский Ю.**

Собрание сочинений в шести томах. Том 4 / Ю. Алешковский —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-749176-5

О «Карусели»: «Временами читать было больно. Однако есть у Алешковского что-то такое... какая-то неистребимая любовь к жизни и здоровая романтика, что ли... что-то такое, что делает то, что он написал, очень настоящим.

Не просто читаешь и прикидываешь, верить/не верить, может/не может, как-то даже вопрос не встает, веришь безоговорочно. Вот что, наверное, мне в авторе, в его личности, очень важно, — это когда понимаешь, что вопроса о доверии уже не стоит вообще» sparrow\_grass.

ISBN 978-5-44-749176-5

© Алешковский Ю.  
© Издательские решения

# Содержание

Карусель	6
Конец ознакомительного фрагмента.	58

# **Собрание сочинений в шести томах**

## **Том 4**

**Юз Алешковский**

© Юз Алешковский, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Карусель

*Памяти Дода*

Дорогие мои!

Конечно же я получил после вызова три ваших письма. Но как я мог ответить хотя бы на первое, если я даже не знал, что теперь будет? Ведь могло быть все, вплоть до самого худшего: митинг, я признаю себя инакомыслящим, дети летят с хороших работ, Света и Витя – из пионерских организаций, будь они, между нами, прокляты, ибо внукам от них нет покоя.

Одним словом (я буду писать убористо), вы не знаете, что такое цеховой митинг. Это – нечто среднее между одночасовой забастовкой и сталинским погромом. С одной стороны, все рады, что никто не работает и за это платят, а с другой – громят меня одного как еврея плюс сиониста, хотя я замечательный карусельщик. Не знаю, есть ли такие карусельщики у Форда.

Так вот, меня громят, я чистосердечно признаюсь, что вы у меня за границей, что я получил вызов и не сообщил об этом куда следует сам, как будто они сами этого не знали.

Я признаюсь, что все эти годы, прикидываясь замечательным карусельщиком и орденосцем, вынашивал планы удара ножом в спину Родины и, не мигнув глазом, получал тринадцатую зарплату. Они выступали бы один за другим, лишь бы не работать и клеймить замечательного карусельщика, и я один был бы виноват во всем буквально, я не преувеличиваю – во всем. Ливан и Камбоджа, и на заводе полный бардак, и заплесневелая технология, и руки прочь от Эфиопии, и за взятки дают жилплощадь, и нет масла и мяса, и вредительская колбаса только по праздникам, и Пиночет, и где туалетная бумага, и многое другое.

Если бы, клянусь вам, это не был митинг протеста, то я подумал бы, что это небольшая революция против Брежнева и политбюро. Слава богу, не в смысле революции, а что митинга такого не было. Не знаю, пережил бы я его без инфаркта. Ведь увезли же старого инженера Гойхмана прямо с трибуны митинга в городскую больницу с обширным инфарктом, когда он подал? Увезли! Разрешение ему пришлось в ту же больницу, но Гойхман из нее уже не вышел. Было поздно.

А куда я брошу письмо в Америку? В ящик? Вы наивные люди! Из Москвы оно еще, может быть, дошло бы до вас, но из нашего сраного, то есть говенного, города такие письма приходят исключительно в областное КГБ – и тогда начинается. Тогда начинается то, чего я сам своею рукою начать не могу. Все моментально пойдет прахом, а дети полетят с работы. Я не сошел с ума от страха. У нас уже было несколько таких случаев.

Я одного в связи со всем этим не понимаю, дорогие. Я не понимаю, почему им кажется, что я, мои дети, моя жена и другие евреи сидим у них как щучья кость в горле, но вынуть ее из горла, то есть не пить из нас кровь за одно только желание уехать, они одновременно не хотят. Не понимаю. Но так я никогда не кончу. Поэтому буду писать убористо.

Честно говоря, ни я лично, ни Вера подавать никогда не хотели. Трудно, очень трудно было, прожив в нашем говенном, то есть сраном, городе с одним заводом, двумя отделами КГБ, двадцатью милициями, универсамом «Полет», где на полках не мясо, масло и рыба, а только тот ночевал на прилавках, чем нас делали и чем продолжают делать детей жители нашего города, несмотря на отсутствие продуктов. Трудно было, повторяю, думать о снятии с места в таком очень пожилом возрасте. Тем более по телевизору чуть ли не каждый день показывают пенсионеров из Нью-Йорка, Лондона и Парижа с трагедией старости, ночевкой на бульварах, под мостами и как их вышвыривают из квартир на голый тротуар.

Вере я даже не показал вызов. Письма ваши тоже от нее скрыл. Зачем ей зря трепать нервы?

И вот дело принимает следующий оборот. Звонит из Москвы Володя. Он женат на москвичке. Она русская. Учит иврит и поет под гитару наши песни. Он звонит и говорит: «Папа! Мы твердо решили ехать. Пришел вызов. Мы подаем документы. На днях приеду за разрешением».

– Ты получишь хворобу, – отвечаю ему не задумываясь, – а не разрешение.

Ты, – говорю, – понял это, щенок? И не ты ли устроил нам вызов, хотя тебя никто не просил?

– Да, – говорит он, – я устроил. Наума, Цилю, Сола и Джо тебе нашел я.

Ты им ответил?

Я задрожал от ярости. Чуть не запустил телефоном в Веру, в его мать, и отвечаю:

– Ты, паразитина и богема, считаешь, что ты ведешь телефонный разговор, провокатор?

Ему хоть бы что!

– Да хватит пердеть от страха! Сколько? Раз мы говорим по телефону и оплачиваем счета, то наш разговор в самой Большой Советской Энциклопедии называется телефонный.

Я бросил трубку. На сегодня писать кончаю, ибо если я не отвечал вам так долго на три ваших письма, то даже неудобно как-то ответить на них моментально. Кроме того, легче работать в мои годы на огромном карусельном станке, чем писать письма. Но если бы я был писателем, то я бы написал такое, что у вас фары (глаза) полезли бы на лоб, столько я всего пережил с 1917 года и в голодуху, и в чистки, и в энтузиазм тридцатых, и в ежовщину, и на фронте, и в тылу, когда взяли врачей, дорогие вы мои. Только не думайте, что все это пережил я один. Миллионы пережили. И пусть у вас не будет мнения о пережитом исключительно одними нами, евреями. Если бы, повторяю, я был писателем, я, безусловно, сочинил бы всего лишь одну толщенную и назвал ее не иначе как «Всеобщие страдания и переживания народов СССР».

Кстати, Володя рассказывал, что книга вроде этой уже написана, но называется, на мой личный взгляд, странно, наподобие путешествий – «Архипелаг». Так что на сегодня я кончаю...

Итак, буду продолжать по порядку. Приезжает Володя получать мое и Верино разрешение. Решаю тянуть и не давать. Нельзя же вот так вдруг ни с того ни с сего сниматься, как шалавым курицам, с насиженных мест и лететь, опять же по-куриному, неизвестно куда и неизвестно зачем! Согласитесь со мной. Вы же почему-то не снимаетесь с Лос-Анджелеса и не летите на землю предков наших, как говорит Володя. Хотя он же поясняет, что ваше положение и наше – разные положения. Вы как бы на свободе, а мы как бы в тюрьме. Не буду уж вымарывать слов «как бы», которые мне начинают казаться лишними...

Приезжает Володя. Он тут же, будьте уверены, получает по морде за тот телефонный разговор и самую Большую Советскую Энциклопедию. Он бы ушел, если бы не моя дорогая Вера. «О! Только через мой труп!» Так сказала эта заслуженная артистка. Тогда Вова снял пальто и заперся в сортире курить.

Вера встала на пороге, и разве мог я тогда не подумать: «Боже мой, слава Тебе за то, что жива любимая жена моя, хотя я несколько раз перешагивал через нее, лежащую на пороге, когда шел опохмеляться с другом всех моих дней Федей, когда уходил, чтоб я сгорел от этого воспоминания, уходил из дому к сволочи одной Лизе из планового отдела, когда я, больной, после операции, срывался на рыбалку, когда я бежал набить рыло классному руководителю моего сына Вовы за то, что он назвал мальчика „жидом“ (тот публично выступил в защиту несправедливо обиженной девочки), когда...»

Впрочем, ложаюсь на пороге и вопя на весь дом: «Только через мой труп!»

– Вера сотни раз спасала меня, дорогие, от милиций, тюрем, увольнений, выговоров и различных кадохес. Она столько раз меня спасала этим дурацким предварительным условием сначала сделать ее трупом, а потом уже идти бросать письмо в ЦК с жалобой на паскудных мошенников из горпищеторга или сказать директору завода все, что я о нем думаю, что я таки постепенно из бравого разведчика, каким заявился в наш говенный город с фронта,

стал превращаться в геморройного тихоню, в примерного, несмотря на отвратительную, по их словам, национальность, и опытного карусельщика. Лучшего, более того, карусельщика нашего задристанного несчастного города.

Глава вторая первого письма, из которой вы поймете, дорогие, какое я был говно долгие годы.

Так как я уверен теперь, что письма мои до вас обязательно дойдут, если, разумеется, не воздушная катастрофа, палестинские террористы, бермудские треугольники или какой-нибудь всемирный шмон с инопришельцами нашей планеты, то зачем мне писать убористо? Я буду говорить что хочу и как хочу. Все непонятные выражения, которые, извините, ввелись в мой фронтной и рабочий язык, как ввелась в ладони обеих рук пыль металла, пожалуйста, выписывайте на отдельный листок, и при встрече я сделаю политические комментарии, потому что это мне нужно делать комментарии, а не вшивому парашнику Валентину Зорину, с которого мне всегда хотелось снять приличную стружку на моем карусельном станке, и что бы, вы думаете, от него осталось?

Одна тринадцатая хромосома с легкой вонью, как говорит мой Володя. Он, между прочим, биолог, но его перестали допускать до ген.

Так вот о выражениях на одном примере. Я, мой лучший друг Федя и наши товарищи по рыбалке, когда мы думали об отмене выигрышей по займам и хотели начать подтирать облигациями – вы знаете, что именно подтирают совершенно обесцененной бумагой, называемой по теперешней моде туалетной, когда мы, повторяю, думали об этом, один из нас подсек шуку и сказал: «Я ебу советскую власть». Федя на это ему ответил: «Мы все ее давно ебем, но она с нас не слазит». Я не знаю, дорогие, употребляете ли вы такие выражения. Скорей всего, нет, ибо Федя тогда утверждал, что если бы в вашей стране правительство одолжило у народа трудовую копейку, причем наше правительство одолжило не по-доброму и душевному, как обычно одалживают друг у друга нормальные порядочные люди, а приставив нож к горлу на митинге, и если бы ваше правительство вдруг сказала, что вроде бы по вашей же просьбе вы теперь увидите не возврат денег, не тиражи с выигрышами и погашениями, а от одного места уши, то ваше правительство вмиг побросало бы в параша свои портфели и было бы растерто, как сопля, по стене Белого дома. Поясняю.

Люди после войны пухли с голоду, многие не имели ничего, кроме дырок на кальсонах; люди упирались и пахали (эти выражения перепишите на отдельный листок) больше, чем лошади, и многие навек осунулись от горя, ибо потеряли любимых и близких. На зарплату и так купить было нечего. Карточки на хлеб, карточки на то, карточки на се, и вот тут опять всех гонят от станков и письменных столов на митинг. Стоим сложа руки. Парторг, сейчас он в ЦК, рыло его бессовестное с бригадой за три дня не обкакаешь, вылезает на трибуну и говорит: «Страна в развалинах... стонут города и дети... слева подпирает проклятый империализм, изнутри подтачивает космополитизм... Зощенко и Ахматова блудят на глазах у народа и пишут слова почище, чем на вокзальном сортире... но мы построим светлое будущее – коммунизм... встаньте на цыпочки – зримые его черты видны невооруженным глазом... дружно подпишемся на заем восстановления и развития народного хозяйства во имя небывалого подъема монолитного единства партии и народа... слава великому кормчему, родному, любимому генералиссимусу Сталину, вперед! Кто самый смелый? Шагом марш на трибуну!»

Бывало, не скрою, и я выходил. Да, говорю, в ответ на ежеминутную заботу партии родной, разумеется коммунистической, одолжим стране трудовую копейку, которую вкладываем в свое же хозяйство, самих себя же питаем, и возвратят нам потом эту трудовую копейку с лихвой. Подписываюсь на две зарплаты!

Говорю я это, а сам думаю: «Вера, как же мы концы сведем с концами, боже мой! Вове три годика, Свете три месяца! Не пойду же я воровать в завсклады, как Яша, я – бывший разведчик бесстрашный, а теперь рабочий человек на громадном карусельном станке?»

Чтоб вам провалиться с этими займами, увеличили бы налоги и не ломали комедию со сладкими рожам и резиновыми словами. Бардак бы лучше ликвидировали на заводе нашем и во всей промышленности и назначили бы вместо пьяных говорунов-парторгов специалистов с головами, а не с жопами красными на плечах. Чтобы техническое у нас и у нашей надорванной страны было руководство, а не политическое, которое хлобыстнуло с похмелюги ведро воды и орет с утра самого хриплым голосюгой: «Давай, давай! Давай! Ура! Вперед! Все на трудовую вахту в честь выборов в народные суды, самые демократические в мире! Давай! Давай!»

Вот мой лучший друг Федя и ответил однажды парторгу нашего завода с глазу на глаз, когда тот подошел к нему и сказал, хлопнув по плечу (такой разговор и такие жесты он считал политическим руководством): «Давай, Федя, давай!» Федя ответил: «Не надо меня хлопать по лопаткам, я не лошадь ломовая. Товарищ Давай знаете чем в Москве подавился?» «Чем же?» – спрашивает парторг. «Хуем он подавился», – объяснил Федя. Промолчал парторг, но затаил зло, падлюка, затаил, не простил лучшему моему другу Феде бесстрашных слов, и сел мой Федя в свой час. На двадцать пять лет сел. Но об этом позже.

Теперь, когда я знаю, что до вас дойдут-таки мои письма, со мной что-то случилось: я теряю нить, пишу об одном, перескакиваю на другое, голова идет кругом, и, кажется, повышается кровяное давление. На чем же я остановился?

А! Вы, надеюсь, поняли, чем именно подавился в Москве товарищ Давай? Жаль, я не знаю это слово по-английски. Придется на старости лет изучать ваш язык.

Я остановился на том, что говорили мы все, кроме Феди, одно, а думали иначе. И подписывались на заем не от чистой души, а от страха и многолетней затравленности, со следами обиды, что вырывают у детей и старух из голодных глоток кусок хлеба, сахарок и маслице. Конечно, были у нас на заводе такие насосавшиеся за войну на броне барахла и денег люди, для которых подписка на две-три тысячи была безвредна и незаметна, как клоп кожаному пальто, но ведь большинство все тот же девятый... – вы уже знаете, что я имею в виду, – без соли доедали, и из них еще вытягивали в получку двести, триста, а порой и четыреста. В общем, обидно нам было. Ведь политическое руководство на наших глазах начало строить для себя, за наш, разумеется, рабочий счет, новую жизнь. Отдельные дома с садами, гаражами и пристройками для шестерок (шестерки – это слуги), егерей посылало в охотничьи заповедники. Разврат, одним словом, пошел. Политические руководители вместе с начальством, вполне откровенно поняв, что мы, бараны, никогда уже не пикнем, отделили свое питание от нашего. Отделили от нашего и свое лечение, снабжение ширпотребом и так далее. И это, повторяю, на наших глазах происходило в нашем засраном областном городе и в масштабах всей страны.

Баба, например, парторга каждый день моталась в Москву на казенной машине, с казенным рылом за рулем и шлялась по барахолкам и магазинам.

Молоденький паренек вздумал заикнуться об этом борделе на профсоюзном собрании. Так что бы вы думали? Он вдруг пропал. Вы мне не поверите, но он действительно вдруг пропал. Через полгода мы узнали, что паренек оказался наймитом вашей американской разведки, крал чертежи и подстрекал, по заданию Черчилля, рабочих завода против его политических руководителей. Как вам это нравится?

Но с чего я все-таки начал эту главу? У меня имеется стыд и страх перечитать написанное. Вдруг я напорол такой хреновины, что душа изумится и велит все спустить в уборную, хотя спускать опасные бумаги в сортир – чистое безумие. Врач Славин и инженер Байрамов именно так заработали по десятке.

В те времена Берия отдал приказ всем домоуправам и сантехникам в случае засорения канализации бумагами направлять их немедленно в местные парторганизации или же в госбезопасность. Я не знаю, сколько всего народу село в нашей стране благодаря плохому напору воды в толчках (унитаз), но Славин, замечательный, между прочим, детский врач, дай бог

вашей Америке побольше таких врачей, как он, спустил в толчок, опасаясь доноса соседей, часть фронтового дневника. Там понаписана была такая, говорят, правда о войне и политруках, что смело сказать: Славину хоть и обидно было так глупо погореть, но погорел он все-таки за дело. Писатель Виктор Некрасов и сотой доли этого не описал. А вот с Байрамовым получилось иначе.

Этот Байрамов, дорогие, навел еще до войны ужас не только на простых инженеров нашего завода, но и на начальство. Сколько село из-за его доносов людей, подсчитать трудно. Но бог шельму метит. Однажды и у него глухо засорился сортир. Пришел водопроводчик Петр Степанович, я его знал, скотину, по рыбалке, вытащил из трубы клочки бумаги, отнес их куда следует, и вдруг, на радость всего завода, Байрамова берут прямо с работы из ЦКБ. То есть радость была на заводе потом, а когда за Байрамовым пришли двое с начищенными наждаком рылами и в габардиновых макинтошах, то все подумали, что Байрамова переводят в Москву или везут прямо к Швернику за получением ордена. Так он, паскуда, сиял, следуя к проходной между двумя рылами. Один даже внимательно поддерживал Байрамова под руку. Сам Байрамов шагал неторопливо и важно, смакуя каждый свой шаг. Если вы видели по телевизору, как шагают космонавты к ракете, то Байрамов шагал именно так. И что же мы узнаем через неделю? Мы узнаем благодаря утечке информации из следственной политической тюрьмы, что Байрамов не желает признаваться в попытке уничтожить в канализации материалы, порочащие внешнюю политику нашего правительства и лично товарища Сталина. Он также отказался признать тот очевидный факт, что среди бумаг, вытасненных из переходного колена канализационной трубы, находились письма к Троцкому и Гитлеру с просьбой перенести столицу СССР из Москвы в наш сраный город. И вот еще что мы узнали... Положение Байрамова крайне осложнялось тем, что на высушенных обрывках бумаг нельзя было разобрать ни одной буквы. Вода смыла даже точки и запятые. Поэтому Байрамов отрицал все обвинения и доказывал обратное. Он, дескать, уничтожил ряд доносов из-за их неорганизованности и отсутствия резких политических оценок поведения своих товарищей по работе. Байрамов вроде бы требовал провести экспертизу. Мы-то не сомневались, не такие уж мы идиоты, что Байрамов говорит правду. Однако обыск письменного стола в присутствии трех понятых поставил неожиданную точку в деле падали, заклавшей на смерть и лагерные муки десятки людей.

В письменном столе Байрамова, в левом, как сейчас помню, ящике, был найден флакон из-под духов «Красная Москва» с невидимыми чернилами, которые в протоколе почему-то назывались симпатичными. Обыск проводил юркий молодой человек. Черные глаза, пробор посередине продолговатого черепа, пальцы тонкие, как, извините, глисты.

Совсем недавно мы с Верой выбрались наконец на гастроли какого-то цирка, и я, узнав в знаменитом фокуснике того самого шмонщика (это очень важное слово), заржал на весь зал. Мы сидели с Верой в первом ряду, я все-таки лучший карусельщик завода, и фокусник, тоже на весь зал, сказал: «В этом фокусе, дорогие друзья, нет ничего смешного».

На меня зашикали всякие лучшие продавцы, слесаря, конструктора, милиционеры, учителя и прочие люди со слета ударников коммунистического труда, но как мне хотелось, дорогие, выйти на сцену и рассказать, почему я чуть не... от смеха. Разве же вам сейчас не смешно? Разве вы не начинаете понимать, в какой стране Мурлындии (так называет СССР мой лучший друг Федя, выйдя из каторжного лагеря) мы здесь живем, хотя вы не слышали еще стотысячной доли того, что знаю я и наблюдаю за всю свою жизнь и каждый день...

Как вам нравится Байрамов? Он все же раскололся (не расколется означает: не признаться, даже если ты кругом виноват) под тяжестью флакона с невидимыми и симпатичными чернилами. Признал, тварь, всю тяжесть вины за попытку перенесения с помощью ЦРУ столицы нашей Родины в мерзкий промышленный город, вредительские ошибки в чертежах с целью сорвать выполнение пятилетки в три года и многое другое признал крыса Байрамов.

Директор нашего завода воспользовался этим делом для того, чтобы в Москве немного пересмотрели кашалотские планы, из-за которых мы ночами, бывало, не выходили из цехов, а политические руководители стояли над нами и базлали: «Давай! Давай! Давай!»

Если вы читали книги «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», написанные бригадой писак коммунистического труда, то вы можете составить легкое представление о тех, кто считал и считает себя пупами прошлой войны и пупами восстановления разрушенной промышленности. Этим политическим руководителям, дорогие, казалось, что если бы не они, то мы – солдаты – не шли бы в атаки, не загибались бы в окопах, не спасали бы без ихнего воя «Давай! Давай! Давай!» нашу страну от фашизма, а, победив его, сидели бы сложа руки в заиндевелых станицах, почесывая жопы, и ничего не восстанавливали. Так, что ли? Выходит, они не надеялись на нашу совесть?

Я вам клянусь, дорогие, что ни парторги, ни министры, ни кагэбэшники не верят ни в какой коммунизм, что их, как и нас, рабочих, подташнивает от этого давно издохшего слова, а весь их коллективный разум занят только одним: как бы подольше продержат нас в узде, как бы отвлекать нас почаще от трезвых мыслей всякими империалистами, сионистами, китайцами и светлым будущим, чтобы, не дай бог, не прочухались мы наконец, не стукнули бы все тем же местом по столу и не сказали бы во гневе: «Все это – туфта! Туфта и ложь, дорогие политические руководители, и вам это известно давно. Давно и лучше, чем нам. Но вы и себя и нас заставляете служить тому, в чем разуверились. Только у вас от этого служения дачи, ватаги шестерок, свой собственный курс рубля, дармовая житуха, а у нас каждый день на хребтине сидит ваш „давай-давай“ и „давай-даваем“ погоняет».

Извините, я забылся и разошелся. Теперь мне легко разбушеваться на бумаге, а ведь я молчал всю жизнь, молчал, говноедина, тюрьмы боялся, национальности своей, бывало, боялся и, страшно теперь подумать, стыдился.

Работа, труд карусельщика были для меня, как и для всего работающего народа, опиумом, и нам десятилетиями за наш нечеловеческий, беззаветный труд подкидывали на грудь железки с ленточками вместо нормальных условий человеческого существования. Кончу эту вторую главу первого моего письма к вам тем, с чего начал. Говном я был, что молчал. Надо было лучше отсидеть, чем держать полвека язык в одном месте, но, выйдя на волю, живя на воле, помирая, наконец, знать: даже черти, Давид, уважать тебя будут за славный, хотя и грешный характер, когда они начнут разводить чертовский синий огонек под казаном с постным маслом. Напишите, ли в Лос-Анджелесе купить казан и что вообще в Америке слышно с постным маслом?

Не прощаясь, перехожу к первой главе моего второго письма или к третьей главе письма первого, что, в общем, согласитесь, одно и то же. Вы помните, приехал за разрешением Вова. Он получил по морде, ибо с отцом нужно разговаривать не телефонным разговором, а по душам, за рюмкой водки, под селедочку и колбаску, привезенную из Москвы. Вы знаете, почему колбаса, которой в нашем городе нет, называется «Отдельной»? Потому что она отделена от народа. Но вы ничего этого не поймете, пока не возьмете Белый дом, как мы в свое время взяли Зимний дворец, не поселите в нем политических руководителей и не дойдете за полвека, вроде нас, до самой ручки. Вот тогда вы поймете, что такое «Отдельная» колбаса.

Ну, вышел Вова из сортира. Я обнял его и говорю:

– Что же не сидится тебе на месте, сынок? У тебя же докторская диссертация на носу, квартира, машина, дачка есть, пусть маленькая, но тихая и вся в цветах. Так что вам с женой не сидится? Что ей-то, русской бабе, делать в Израиле? Ведь бегут из него евреи обратно. Я по программе «Время» своими глазами видел.

– Так вот, – отвечает Вова, – если нажраться гороха с ржаным хлебом, то воздух в комнате будет чище, чем при показе программы «Время». Тебе не остоебенило, отец, смотреть, как вожди вручают друг другу ордена, звезды, сабли и медали? Как они лобызают друг друга

на аэродромах? Не надоело? Кишки еще тебе не заворотило от голосов неувыдаемых дикторов, сообщающих, что на шахте «Ленинская» выдана на-гора столько-то миллионная тонна угля? Что фабрика имени Ленина дала стране сверх плана массу тысяч метров ситца, которого и днем с огнем не сыщешь в магазинах. Ты не очумел от ежедневного переваривания каких-то абстрактных тонн, километров, гектолитров, штук, человекокоек и поросятодней? Не очумел? Я лично очумел. Но дело не в телепрограмме «Время». Это дерьмо и не смотреть. Дело в том, чего уже нельзя не видеть. Я еврей. Мы две тысячи лет гуляем по морям и океанам, осваиваем чужие города и веси. Пора возвращаться мне лично туда, где начинали жизнь на земле мои пращуры. Пора. Если в этой стране сами русские перестали чувствовать себя хозяевами своей жизни и культуры, если уж возникло в самой России националистическое движение славянофилов, то евреям, на мой взгляд, делать в ней нечего. Нужно либо помогать истинно русским людям избавляться от трупной заразы коммунистической идеологии, почти уничтожившей их национальную самобытность, то есть становиться профессиональным диссидентом, либо начать жить жизнью своего народа на своей исторической родине, в своем государстве., конечно, продолжать жить, как жил, мириться с унижением, когда тебя фактически вышибли из науки, закрыв доступ в лабораторию, и подозревают к тому же в готовности продаться ЦРУ за пару джинсов. Есть, очевидно, еще несколько способов более-менее сытного существования, но они не по мне. Я лично в гробу их видал. Старшие твои братья надеялись обрести на века новую родину взамен утерянной, когда Ленин соблазнил Россию на самоубийственный бунт и строительство царства Божьего на земле. Один твой брат выхаркал легкие на Лубянке, другой замерз в Воркуте. Наверно, не в их силах было тогда понять, что происходит. Зато в наших силах не только понять, понимать-то, в общем, уже нечего, но и действовать, а не задыхаться в стране, насквозь просмердевшей от лжи и социального разврата своих мелких и крупных руководителей, наших надзирателей и работорговцев. Вот тебе мой нетелефонный разговор. Давай выпьем, отец!

Вдруг, дорогие, я зарыдал, вернее, тихо заплакал, уронив свою дурацкую старую голову на руки. Я плакал от обиды и презрения к себе, ибо Вова сказал иными словами то, что мне давно уже стало ясным благодаря честным наблюдениям за жизнью и урокам лучшего моего друга Феди. Он сказал, а я десятки лет молчал, потворствуя лжи, и грудь моя покрывалась ничтожными железками, и лицо мое улыбалось с Доски почета. Всем этим политические руководители платили мне и подобным мне замечательным работягам за молчание и высокопрофессиональный труд. Я плакал, как один из тех, кто вынес и фронт, и разруху, расплачиваясь за ошибки коллективного разума, который партия помещала то в ленинскую голову, то в сталинскую, то в хрущевскую, то в брежневскую, здоровьем, досугом, семьей, отлучением от правды жизни и Бога.

Да, дорогие, Бога. Он не умирал в моем сердце, благодаря Ему в крови войны и в дерьме пропагандистских кампаний я оставался и остаюсь, верьте мне, человеком добрым, веселым, не предателем и не вонючим жлобом.

Я согласен был со всем, сказанным Вовой, хотя при упоминании о земле пращуров ничто не шевельнулось в моей душе, для которой самым любимым местом на земном шаре всегда была опушка старого леса на берегу Оки и дубовая коряга, отшлифованная моей задницей за сорок пять лет счастливых и так себе рыбалок.

– Но хватит плакать, – сказал я сыну. – Разрешения ни я, ни мать тебе не дадим.

– Ты серьезно говоришь? – спросил Вова.

Он побледнел на моих глазах, и Вера – эта старая курица – завохотала, затрепыхалась, принесла валокордина, который нам прислали из Вильнюса, ибо в наших аптеках его не найти.

– Не бледней, – добавил я. – Тебе тридцать три года, а ты уже бледнеешь. Что же будет через десять лет? Паралич?

– Лучше бледнеть, чем краснеть, – говорит Вова, намекая, конечно, на меня.

– Выпейте и закусите, – говорит Вера, разрываясь между мной и сыном.

– Мы можем выпить, – отвечаю. В этот момент и зашел к нам мой лучший друг Федя. – Но разрешения я ему не дам.

Вова вежливо захотел узнать почему, но глаза его в тот миг были глазами не сына. Это были чужие и враждебные мне глаза. «Вернее, я дам тебе разрешение, – добавил я, – но не раньше чем через полгода. Я имею право за свою жизнь и стаж спокойно уйти на пенсию, хотя лет до семидесяти я на нее уходить не собирался. А вот выйду когда и провожу вас всех к чертовой бабушке в Израиль, закручу роман с крановщицей Лидой, она меня уже целый год кадрит».

Вера, конечно, в слезы. Поделом. Я знаю, что если бы не я, то эта курица первая оставила бы все в нашем сраном городе и голая полетела бы за Вовой и внуками хоть на край света. Федя тоже выпил и спрашивает, поняв, что тут у нас происходит, почему я связываю разрешение с выходом на пенсию.

«Потому что, – говорю я, – весь цех, не говоря уже о заводе, хочет с почетом проводить меня на пенсию. Но какой же почет и веселая выпивка, если вдруг разнесется слух, что мои дети уезжают в Израиль? Значит, и я скоро намылюсь туда же? Парторг скажет: „Сколько волка ни корми – он все равно в лес смотрит. Вот пускай его торжественно выпроваживают на пенсию в том самом лесу все те же самые волки“. Вот как будет. И не видать мне на старости лет малюсенького садового участка с домиком, подаренного заводом моему лучшему карусельщику. Зачем мне напоследок такая карусель, Федя? Разве я не прав?»

Федя выпил и отвечает: «Евреи, сломя голову бросившиеся в революцию, надеялись обрести при социализме вторую землю обетованную. Теперь евреи намылились в Израиль. Следовательно, социализма не существует. Это, конечно, шутливая логика, и я ее, как всякую логику, ебу, потому что за бортом силлогизма, – говорит Федя, сам я не знаю, что это такое, – осталась кровь десятков миллионов людей, населявших новую большевистскую империю, мозги, выбитые еще из многих миллионов простаков, уцелевших от ленинско-сталинской бойни; за бортом этого силлогизма остался счет за погубленных и затравленных гениев, за грыжу, нажитую рабочим классом на авралах и трудовых вахтах, за начисто истребленное дворянство и дегенерировавшее изнасилованное крестьянство. Всего сейчас не подсчитаешь. Это мы на нарах, бывало, подсчитывали, подсчитывали, баланс пробовали подвести, соотнося обещанное с содеянным, волосы на головах наших вставали дыбом и души отказывались относиться к происходящему злу, рядившемуся в добро, как к явлению закономерному и нормальному, души наши замирали, сжавшись в комочек, чтобы хоть на миг быть подальше, подальше от холодного страха, сумасшествия, дьявольщины и удушья».

Вот, дорогие мои, как говорил лучший друг моих дней Федя. Я не выпустил ни одного слова из его речи, потому что, промолчав всю жизнь, я таки нажил себе отличную память. Что нажил, то нажил. А если вас действительно интересует, что именно я нажил за свою рабочую жизнь, то я вам отвечу-таки: у нас с Верой есть два гардероба – моя голова и ее попа. Не буду уж употреблять более сильного и точного выражения. Почему у нас всего два этих гардероба? Потому что мы никогда не копили и все отдавали детям. Даст бог, поговорю когда-нибудь с карусельщиком такой же высокой квалификации, как у меня, работающим на Форда. Я спрошу, что он себе имеет с женой на старости лет? Я примерно догадываюсь, мы с Федей не раз это прикидывали, но я спрошу брата по классу лично и тогда pošлю открытое письмо в наш цех, газету «Труд» и, воз, в «Пионерскую правду», чтобы дети еще в школе знали, насколько были нищими по сравнению с американскими или шведскими рабочими я и подобные мне замечательные карусельщики. Рабочий, в общем, класс.

Тут мой Вова говорит:

– Дядя Федя, а вы сами свалить не хотите? Я вам устрою. Все будет просто.

Но Федя, не думая, ответил:

– Нет, Вова. Мне поздно сваливать. Я уже не борец. Укатали они меня, падлы, как надо. Почки барахлят, ослепну скоро к чертям собачьим, а то, вероятно, махнул бы с риском потерять навек эту землю, такая бешеная обида у меня и ненависть к скотоподобным рабам и к сосущим из них кровь хозяевам.

Куда уж мне. А ты, Вова, линияй. Все равно житья вам здесь, пока эти старые свиные хари стоят у кормушки, не будет. Им выгодно, сам понимаешь, кроме всего прочего, пудрить наши разболтанные мозги мировым сионизмом, подрывной жидовской деятельностью и иной низкопробной падалью. Поезжай, живи, работай, расти нормальных детей, старый хрен даст тебе разрешение, куда он денется?..

– Только после того, – отвечаю, – как выйду на пенсию и друзья соберутся в клубе проводить меня, выпить и закусить. У меня есть на банкет триста рублей, и если я задумал угостить людей, то можете не сомневаться: я угощу, и нет таких сил и стихийных бедствий, которые сорвали бы этот мой хранящийся в сердце план. Нет!

Так я сказал, и Вера выразительно посмотрела на своего цыпленка Вову в знак того, что я прав, а он не забеременеет, если дождется моего выхода на пенсию и пирушки с друзьями. Но со стороны лучшего друга Федя была сделана успокоительная дипломатия. Он предложил замять наш разговор, выпить, закусить и припомнить под рюмку старые славные проклятые дни, ибо чувствует он, что скоро простится навек с Давидом, то есть со мною, но не в том смысле, что я врежу дуба (перепишите это выражение, дорогие), а в том смысле, что я уеду из нашего засраного, полуголодного, посиневшего от «Солнцедара» промышленного города. Уеду, и с каждой минутой это становится ему все ясней и ясней. И как ни тяжело, как ни пусто, как ни смертельно грустно будет ему здесь без его лучшего друга Давида, он не то чтобы советует мне линять в Израиль, но категорически велит подавать на выезд.

– Если уж даже мы, русские, не хозяева своей Родины, а энцефалитные клещи – политруки, – сказал Федя, – которых прищипоривает какой-то дьявол, соблазняет плюгавое властолюбие и жизнь на халяву (бесплатно), то вас они, твари, затравят постепенно, чтобы быдло заводское, институтское, чиновное, пивное и квасное хавало вместо вкусной и здоровой пищи старого, к тому же вонючего козла отпущения...

Я даже захохотал от такого выступления. Как не захохотать, когда в голове моей не было ни стружечки от мысли ехать куда-нибудь на старости лет, за пять минут до пенсионного покоя. Не было, и все. Тот факт, что едут другие, касался только их, а не меня, и я не судил их, как некоторые знаменитые евреи, выступавшие однажды по телевизору: генералы, гнусная рожа в очках из «Литературной газеты», актрисулька, балерина, начальник из Совмина и прочая шобла. «Шобла» по-нашему означает неприличное общество, в котором лучше всего не показываться.

В общем, я захохотал и говорю:

– Рано ты меня, Федор Петрович, хоронишь, рано. Никуда я не поеду, а будем мы с тобой рыбачить зимой и летом, а осенью грибки собирать, сушить да в Москву возить продавать – двенадцать рэ за нитку белых. Будь здоров, старая коняга!

Усмехнулся Федя как-то странно, жажнули мы (выпили) еще бутылочку и вспомнили такое, чего ни Вера, ни дети мои не знали не то что в подробностях, но до гроба не догадались бы, что я способен на авантюры всесоюзного масштаба.

Вторая глава второго письма. За это время Вова уехал в Москву несолоно хлебавши и понял, что если я сказал, например, приду в пять, то я приду ровно в пять, не раньше и не позже, и нет на свете силы, способной помешать мне распоряжаться временем собственной жизни. Хотя вы убедитесь позже, что силы такие, к сожалению, имеются, что мы их опять-таки... совершаем, так сказать, с ними половые отношения, а они с нас не слазят. Не слазят, сволочи. Некоторые люди брыкались, бывало, вскидывали задницы, как кони под ковбоями в том фильме, ржали, хрипели, грызли удила, кровавую пену с губ схаркивали, разбегались

и останавливались словно вкопанные на всем скаку, но когда удавалось самым отчаянным, свободным и непокорным вышибить из седла какого-нибудь сраного бюрократа или политрука, их снова оседлывали и рвали удилами губы до тех пор, пока они либо не валились с ног, намертво запарившись, либо не демонстрировали в конце концов чудесной выездки. Я, дорогие, кое-что в лошадях понимаю. Так вот, во второй главе второго письма вы узнаете то, чего вы никогда не узнали бы ни из наших газет, ни из книг, написанных по указке Брежнева.

Выпивали мы, в общем, тогда, закусывали чем бог послал и тем, что Вова привез из столичного гастронома «Новый Арбат», смотрел я на Федю, чубастого еще в свои шестьдесят пять, но худющего, как скелетина, неизвестно чем вдыхающего (нет одного легкого) кислород, переваривающего (резекция желудка) нашу кирзовую ежедневную пищу, выводящего из бедного тела (отбитые следователями почки) пиво, водку, квас, чай и холодную воду, жующего, однако, своими съемными протезами весело и молодо, как годовалый волк, резиновую грудинку, смотрел и думал с теплотой, удивлением и любовью: «Я знаю, Федя, отчего в тебе душа не только держится, но и торжествует, знаю!

Ты старая больная лошадь, и губы твои забыли, что такое улыбка, потому что раздраны они ржавыми колючими удилами политруков и защиты грязными лапами лагерных лепил, но, если бы все твои следователи выдавили тебе к тому же глаза и вырвали язык, все равно любой мало-мальски душевно грамотный человек не мог бы не почувствовать исходящую от твоего существа, изуродованного якобы самыми человеческими изо всех прошедших по земле людей, благодарную радость жизни, и даже безъязыкий ты говорил бы нам всем: «Держитесь, мужики, держитесь, не унывайте, пока живы мы еще, всем чертям и бесам мира с нами ничего не поделать, а если помрем, то не поделать тем более. Держитесь, оставаясь людьми, держитесь, бесконечно униженные насилем, произволом, хворьями и голодухой, держитесь – и тогда десяти сталиным и шести советским властям не выжечь души, как бы неистово ни пытались они сделать это, ни в человеке, ни в народе...»

Вот как говорил ты и, говоря, не просто трепался, но ты победил, ты не продался бесам, ты поэтому весел, и ты еще шутишь, что твоему ангелу-хранителю повезло, ибо самому тебе и без него уже ничего не страшно».

Вот, дорогие, каков лучший друг моих дней Федя. Но они не прощали ему ничего. И они его схавали (съели) однажды, буквально съели. Помните, как он сказал парторгу завода: «„Давай“ в Москве хуем подавился, до сих пор отрыгнуть не может»? Он так сказал, потому что видел всю туфту и нереальность завышенных планов реконструкции завода. Он, также как все мы, впрочем, видел, каких нечеловеческих усилий требуют от нас парторги и начальство, чтобы не обосраться перед Сталиным за выданные без нашего рабочего ведома обещания. Федя ведь великий инженер, золотая голова на плечах, которая думает всю жизнь о других, а не о себе, он ругался, предупреждал, предлагал разумные решения для выигрыша времени, экономии жил и средств рабочего класса, и именно потому, что он был во всем прав и это стало очевидным, его взяли. У них, мерзавцев, был один выход, чтобы не обосраться перед Сталиным и не полететь из своих партийных кормушек обратно на производство. Этого они бздели (боялись), дорогие, больше всего. И его взяли. Как вы думаете, что Феде в конце концов пришили?

Вначале поясню о нашем прошлом, о фронте, который мы с первого до последнего дня войны прошли вместе. Федя – командиром полковой разведки, я – простым разведчиком, но бесстрашной чумой, как называли меня друзья. Они думали, что я смелый, но это было не так. Просто я от страха заболел потерей чувства опасности, и мне уже было море по колено. Поистине только Бог спасает таких безумцев, как я, от ран, не говоря о смерти.

Так вот, однажды наш командир сделал ошибку (на войне, как у вас на бирже: иногда всего не угадаешь), пошел на зорьке на рыбалку (было затишье между боями) и анекдотически попал в плен. Я тоже был на рыбалке, но без автомата, и к тому же сидел метрах в ста от Феде,

над сомовым омутом, сома мне очень хотелось поймать, перед тем как погибнуть в очередном бою. Сидел без оружия, нарушая многие статьи устава, и ничем Феде помочь не мог. В тот момент ничем. У меня хватило ума не поднимать шума, бросить к чертовой матери удочку и сома, который, сволочь, как раз клюнул, но сердце мое оборвалось не от удачной поклевки, а от глупого вида Феде – товарища капитана, уводимого четырьмя здоровенными амбалами в сторону фашистских траншей. Кстати, лучше бы я погиб, чем видеть такое. Что вы бы сделали, интересно, на моем месте в такой боевой обстановке? Не ломайте, дорогие, зря головы. Не додумаетесь. Наш командир шел как убитый и шатаясь. Очевидно, его грохнули по голове прикладом и оглоушили, как рыбу. Я теперь думаю, и холод от этих мыслей охватывает мою душу, неужели так будет до конца времен, что щука, например, ловит маленькую рыбешку, мой командир ловит эту несчастную щуку, немецкие разведчики в свою очередь ловят такую щуку фронтовой разведки, что им и не снилась, причем ловят, как тупые везунчики, а не бывалые рыбаки. Они ловят, хохочут от удачи, выкручивают Феде руки, дают поджопника, они рады (словно дети, поймавшие голыми руками акулу в городском пруду), а Федя, очевидно выигрывающая время и рассчитывая на то, что его «рыбаки» вряд ли начнут пальбу поблизости от нас, вдруг вырвался, побежал и начал игру в «салочки». Вы бы видели эту сцену.

Выход у меня был один, ибо Федя не барнаулил (любимое слово штрафников воров-рецидивистов, означает – не кричал), давая мне понять, чтобы я затрепыхался, если я на воле, а он в садке, и правильно полагая, что немцы не преминули бы прошить его очередью, когда бы он засветил их криком поблизости от наших. Последнее, что я видел, пулей метнувшись к лесу: снова взятого Феде связывали и делали для него что-то вроде носилок, ибо сам он, как я понял, идти пешком в плен не собирался. Это было бы для фрицев слишком жирно. И вот теперь я вам признаюсь в том, чего не знает ни один человек на свете – ни Федя, ни Вера, ни дети, при воспоминании о чем я краснел и мучился, ибо я думал и думаю, что я – уродина, каких больше нет, и мне снова становится смертельно стыдно. Пусть дрожь проберет вас, когда я скажу, что я сделал, и, может быть, от содрогания вы даже не ответите мне и не захотите увидеться с таким уродом, но я все-таки скажу, потому что я в отличие от Брежнева пишу сам и если уж пишу, то буду говорить всю правду, какой бы ни была она для меня уничтожающей и жестокой. Несмотря на ужас случившегося, лишивший меня в первый момент на какое-то время сознания, знаете, что я делал, пулей летя по лесу? Приготовьтесь выслушать правду. Я тогда смеялся!

Да! Я хохотал, не понимая происхождения такого смеха, относя его к помешательству, потрясению, уродству своей души. Ведь надо было не смеяться, как от еврейского анекдота, а рыдать на весь брянский лес, чтобы кровь леденела у живых существ от моего горя и ужаса. Но я летел и задыхался от смеха. Приступы хохота вдруг пощадили меня, но, когда я снова представлял, как мой командир (впоследствии оказалось, что так оно и было на самом деле) говорит немцам: «Ну уж хуюшки, ребята, своими ногами я в плен не пойду», и немцы, вынужденные с этим считаться, несут его на своих хребтинах (плечах), наживая грыжи, не бросать же на дороге такую добычу, такого задарма доставшегося осетра, веселый смех снова одолевал меня. И не он ли в конце концов, спасая душу от отчаяния, придавал мне сил и помог тогда же на бегу выбрать для спасения командира и своего лучшего будущего друга, воз, единственное правильное решение из всех, что, несмотря на хохот, разрывали мозги на части? Я растряс дрыхшего переводчика, засунул его, как кота в мешок, в фашистскую генеральскую форму, умоляя ни о чем не спрашивать, ибо будет поздно, я все расскажу по дороге, сам напялил на себя свой фельдфебельский мундир, схватил автомат и пару пистолетов. Никто, между прочим, так и не проснулся. Все дрыхли между боями по-чапаевски, и мы полетели наперерез, через хилый березняк, минуя еловую дремучую чашу, слава богу, все под гору, под гору и, упредив немцев, поспели-таки им навстречу.

Увидев из-за кустов, как они плетутся, меняя руки, смахивая со лбов взопревших пот и зло уговаривая Федю идти своими ногами, на что он отвечал им излюбленным жестом руки, я снова задохнулся от хохота, но это уже были последние его спазмы. Теперь надо было безошибочно и артистично, чему нас, разведчиков, всегда учил наш командир, делать то, что виделось мне единственным выходом из положения, причем избегая боя, оставляя смертельный бой на самый худой конец, напоследок. На душе у меня стало светло и легко.

Даже бой, даже смерть в том бою, наша и командира, была бы уже победой.

Только не плен, Федя, только не плен, такой нелепый, смешной и, наверное, позорный. Я говорю, дорогие, «наверное», ибо в жизни нашей частенько случаются такие неподвластные мудрому и осторожному предусмотрению вещи, что определять их чисто по-прокурорски и по-комиссарски, что одно и то же, просто неприлично. Позор не тем, кто, подобно Феде, случайно попадал в плен, а позор Сталину и его безмозглым жополизам типа Ворошилова и Буденного, позор позору еврейского народа Кагановичу за то, что они – выродки – не упредили любыми способами Гитлера и бросили миллионы моих братьев-солдат фактически на произвол судьбы, на окружение, плен и уничтожение. Вот кому позор! Помните это в своей Америке, когда вы миритесь с бандитскими штучками нашей компартии в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и в Европе, помните, дорогие, чтобы с вами не повторилось то, что пережили люди Страны Советов за свою историю. Но не будем уходить в сторону. Лучше вы взгляните на нас со стороны. Выглядело это представление примерно следующим образом: я двинул как следует по шее нашему переводчику, чтобы он перестал дрожать, как овца, от страха. Мы вышли из-за ельничка с полными фуражками белых грибов (их была тьма-тьмущая в том лесу) ... Немецкий генерал прогуливался по старой привычке завязтого грибника в сопровождении младшего по чину, тоже якобы любителя собирать грибки. Автоматы свои немцы сложили на носилки, рядом с Федей, и были фактически безоружны.

– Рывкай на них, – шепчу своему «генералу», – рывкай, не то живым не уйдет отсюда никто, остальное сделаю я, рывкай!

И наш переводчик Козловский, когда мы свалились немцам как снег на голову, рывкнул с генеральской раздражительностью:

– Что за карнавал, сволочи, смирна-а!

Бедняги и ужасные неудачники вытянулись в струнку, и мне этого мгновения было достаточно. «Ложись, стреляю!» – заорал я безумно громко по-немецки. Солдаты бросились наземь. Я держал их на мушке автомата.

Козловский перерезал финкой ремни на руках и ногах Феде и вытащил кляп у него изо рта – мерзко грязный носовой платок с вышитым в уголке пожеланием: «Будь здоров, Франц!»

– Вот за это я люблю жизнь, – как сейчас помню, первым делом сказал Федя и пояснил, что он любит ее за неожиданную смену губительных ситуаций спасительными и, если уж на то пошло, то и наоборот, иначе не было бы никому и никогда спасения. Вторым делом он обшаманил (обыскал) лежащих немцев, забрал гранаты и пистолеты. Автоматы их перешли к нам. Козловский потирал руки и говорил, что все мы получим по ордену Красного Знамени, а возможно, по Александру Невскому 1-й степени. Но у меня и у Феде заныло в душе от нехороших предчувствий. Надеюсь, вы поняли, дорогие, чем это для нас пахло, если бы до командования, особенно до политотдела и гнусной контрразведки, дошла история с пленением Феде? Пока Козловский шаманил в свою очередь пленных, снимал с них, гнида, часы, кольца и отбирал сигареты, мы с Федей прикидывали: как нам теперь быть? Привести с ложными подробностями «языков» к генералу? Открылась бы самовольная отлучка из расположения части без оружия, но с удочками, пленение командира полковой разведки, дрыхшее без задних ног боевое охранение и так далее. Все это открылось бы, ибо немцы, мы прекрасно понимали, не преминули бы отомстить таким образом своим хитрым захватчикам. Я склонялся к варианту освобождения немцев. Пусть идут себе к чертовой матери обратно. Я в первом же бою верну этот долг фронту

и убью четверых-пятерых немцев сверх плана. В конце концов, обращались они с Федей вполне прилично, исключая Франца, который, между прочим, от страха наложил в штаны большую кучу и отвратительно вонял, дрожа на траве всем телом. Пусть, говорю, идут себе. Ведь они тоже любят жизнь за смену гибели спасением и наоборот. Ведь и на войне может быть место великодушию и широкому жесту. Я говорил так открыто и смело со своим командиром, ибо мы дружили еще со школьной парты. «Такой вариант мне нравится, – отвечал Федя, – но неужели не ясно, что Козловский с ходу нас заложит за орден Красной Звезды, и тогда – каюк: расстрел или в лучшем случае штрафняк».

Да, подумал я, согласившись, такая мразь, как Козловский, заложит нас непременно, причем со всеми потрохами (кишки, внутренности). Интересно, как бы вы поступили на нашем месте, дорогие? Ликвидировали бы и фрицев, и Козловского? Не думаю. Если бы я мог эту сволочь не брать с собой, если бы не был мне мал генеральский мундир и если бы я знал немецкий язык, как знал его он, то, конечно, я попытался бы все сделать сам, и тогда отпустили бы мы к чертовой матери четверых идиотов, посмеялись бы от ужаса страшного воспоминания и остались бы, как говорится, при своих. Однако если бы да кабы, то не было бы в России кагэбы (наше гестапо). Пока мародер Козловский шаманил, не брезгуя, обосравшегося Франца, мы перебирали варианты и остановились на лучшем: героем вылазки должен стать Козловский, но Федя доложит начальству все, как оно было. Солжем мы только в одном: в преувеличении заслуг якобы смельчака и артиста – переводчика. Пусть он треплется в части и расписывает свою решающую роль во взятии четверых «языков».

Он был полный идиотина, и я на обратном пути внушил ему, что пленение командира всего-навсего инсценировка, заманка немцев в ловушку для того, чтобы, не сделав ни одного выстрела и не выдав дислокации в лесу полковой разведки, захватить важных гусей из спецкоманды, обслуживавшей новый тип танка. Козловский, трепясь, будет, таким образом, у нас на крючке. В общем, одна версия, решили мы, для комполка, другая для солдат.

Фрицы наши шли в плен не то чтобы охотно – они радовались, как дети, которых папы сняли с уроков и вели в гости. Францу пришлось прополоскать в реке свои штаны, сапоги и подштанники, но все равно несло от него дерьмом, как от деревенского сортира в сырую погоду. В общем, все тогда обошлось великолепно. Комполка, любивший Федю всей душой, орал, топал на него ногами, обещал сорвать погоны, отнять ордена и отдать нас обоих под трибунал, но потом налил нам спирта, сказал справедливо, что на войне все бывает и если уж судить, то судить надо кое-кого другого, на кого он сейчас не будет указывать пальцем. Безусловно, он намекал на Сталина – отвратительного и ненавистного предателя армии и страны. Я знаю, что именно так, с ненавистью и презрением, относились к нему здравомыслящие, не отупевшие от вонючей пропаганды и большевистской лжи солдаты и офицеры. Все-таки мы тогда спасали Родину. Сталина же, к нашему сожалению и к его счастью, спасли по дороге.

Итак, кончилась наша трагическая рыбалка благополучно. Козловского комполка представил к ордену, повышению в звании и отправил в другую часть.

Из следующей главы этого письма вы узнаете, что было потом, после войны, ибо написанное я должен сегодня отправить прямо в Вену с отъезжающими людьми. Не торопитесь понять, как я это делаю и почему я живу в Москве у Вовы. Всему свое время, да и читать мои письма, вероятно, интересней, чем вы мучаетесь в догадках, а что же будет дальше, что? Более того. Я теперь начинаю понимать, дорогие, почему я всю жизнь жил и живу с большим любопытством, а порой и с азартом: мне, безусловно, интересно, что же будет дальше? Мы восстановили на свою шею, оторвав средства от собственного народа, Китай. Теперь не знаем, как от него избавиться. Вкачали миллиарды в Индонезию и просрали ее. Залезли в Африку, в Азию, запутались в бороде Кастро, мутим воду везде, где только она мутится, держим на штыках и под гусеницами танков пол-Европы. Мы орем на каждом шагу: «Да здравствует светлое будущее!» – когда с каждым днем становится все темнее и темнее. В нашем сраном городе,

как и в тысячах еще более отвратительных городов, давно уже ни мяса, ни колбасы, ни масла не видно, не то что светлого будущего. Так что же будет дальше? Не дай бог, думаю я иногда, впадая в уныние души, дожить мне до того дня, когда опять какой-нибудь умник залезет на Мавзолей с полной кучей в маршалских штанах от страха и призовет, перед тем как спуститься в бомбоубежище, миллионы своих братьев и сестер расплатиться жизнью, кровью и нечеловеческой мукой за беспардонно глупую политику и ужасающие авантюры. Что же будет дальше, думаю я с еще большим унынием, когда я вижу толпы своих братьев-пролетариев у винных магазинов и пивных ларьков, где их единственная радость – распить с друзьями портвейновую отраву, «словить кайф», как они говорят, потрепаться о хоккее, чтобы потом, задрыхнув у телевизоров, проснуться с отравленной сивухой и пивом головой и с красными зенками (глаза) и переть в цеха, унимая по дороге тошноту, которую непременно вызывают с похмелья остоебенившие (набившие оскомину) лозунги вроде: «Народ и партия едины», «Социалистическая демократия – высший тип демократии», «Слава труду», «Слава КПСС». А когда я наблюдаю за пятнадцатилетними сопляками, за подонками с пустыми, оголтелыми, уже залитыми той же бормотухой глазами, наблюдаю за выражением бессцельности и бессмысленности на их лицах, полузакрытых длинными, слипшимися, давно немытыми патлами, когда вижу, случается, как нагло и по-свински они терроризируют девочек, нормальных парней и невинных прохожих, потому что уже сейчас для них самое сладкое наслаждение – чужое унижение и чужая боль, мне страшно думать: что будет дальше? Если наши политруки скажут им: «Во всем виноваты евреи, американцы, немцы, китайцы, чехи, японцы, румыны и египтяне!

Бейте их, братья и сестры!» – то, безусловно, эти скотоподобные существа с душами, вытравленными в самом начале своей жизни мертвыми словами лозунгов и призывов, заревут, распаяясь от предчувствия крови и наживы, и затопают копытами в бешеном и злобном нетерпении. Не забывайте и вы там о своих детях...

Пожалуй, я лучше сразу начну третье письмо, чем играть в игрушки с главами, частями и так далее. Вы правы, дорогие, в намеках своего ответа на мое первое письмо, что у нас в стране, да и среди эмигрантов, развелось слишком много писателей и что для меня было бы полезней думать не о главах, а о серьезных вещах. Может быть. Но сначала нужно выяснить, что именно вы считаете серьезными вещами, а что таковыми считаю я. У любого из тех, кого вы обидно называете бумагомарашками, так наболело в душе от многолетнего держания языка в одном месте, что нет иной возсти избавиться от накопленных мыслей и чувств, чтобы от них не пухла голова и не разрывалось сердце, как, посчитав себя для интереса писателями, взяться за перо и уйти с головой в лист бумаги. Вы также убедительно просите меня лучше относиться к городу, в котором я почти родился, вырос и в настоящий момент прописан.

Хорошо, что у вас хватило ума не повторять в ответе слово «сранный-пересранный». А вдруг я называю его так с большой любовью и жалостью?

Что тогда? Вам всего этого не понять, и больше не злите меня в письмах молниеносными суждениями о том, в чем вы разбираетесь не больше, чем наши политруки в гуще жизни. Не надо. Затем Наум и Циля просят меня прекратить рассказы о моем лучшем друге Феде, ибо он не интересуется их ни с какой стороны, и наоборот, Сол и Джо умоляют сообщить, как развивались события впоследствии. Так вот, пусть каждый из вас читает интересные для себя места.

Неинтересными можете подтереться. Пока на пятьдесят пятом году советской власти в нашем изумительном, в нашем лучезарном, сытом, приветливом, чистом и свободном городе не появилась каким-то чудом туалетная бумага, мы так поступали с центральными и местными газетами. Добавлю, чтобы не потерять основную мысль: не было в мире подтирки более мягкой, чем бумага из последнего собрания сочинений Сталина. Ее хватило нам на два, кажется, года.

Сейчас нам иногда присылают туалетную бумагу из Москвы внимательные дети. Ее по-прежнему не хватает на душу населения. Ну вот что вы, зло меня сейчас разобрало, понимаете в нашей жизни, что? Вы можете себе представить следующее. В один прекрасный день

исчезают из московских магазинов (мы отовариваемся в основном там) лезвия. Бриться нечем. Ходят всякие слухи. В том числе – все бритвы скупили евреи и переправили в Израиль резать горло арабам. На заводах начинают частным образом из лучшей, почти драгоценной стали делать опасные бритвы и торговать ими. Вдруг через год, так же непостижимо, как и пропали, проклятые лезвия снова наполняют прилавки. На моем веку блудными вещами становились: мясорубки, утюги, колготки детские, валенки, калоши, сигареты, копченая колбаса, свиная тушенка, мотоциклы, губная помада, презервативы (гондоны), вата (вы бы знали, как тогда мучились девушки и женщины), лыжи, нижнее белье, электролампы – всего не перечислишь.

Я берусь утверждать, что не было на свете вещи, не исчезнувшей хоть раз хотя бы на короткий срок из продажи. Это наши вонючие газеты называют проблемами и трудностями роста. Нет такой вещи. Но ведь существуют где-то, например у вас, вещи и продукты, даже не думающие попадать обратно в нашу мерзкую торговую сеть. Вобла, скажем, довоенные бублики с маком, необычайная колбаса «собачья радость», ратиновые пальто, ситец, теннисные мячики, речная рыба, тресковое филе, кукурузное масло и так далее Федя, добавлю, считает, что вещи иногда, как и люди, не могут не чувствовать дьявольской природы советской власти и так называемого социализма. Им при этом или не хочется жить вообще, или они куда-то намыливаются (эмигрируют). Но хорошо. Перед тем как продолжить рассказ о Феде и его жизни, я поясню вам, дорогие, почему и как я оказался в Москве у сына Вовы.

Вы помните, мы тогда (я, Вова, Вера и Федя) выпили и закусили. Я настоял на том, что до выхода на пенсию никакого разрешения – ни формального, ни сердечного – Вове не будет. Он вошел в мое положение без обиды. Я же не отговаривал его вообще от эмиграции. И так, он уехал.

Буквально через три дня меня вызывает к себе парторг. Сидит за столом, мерзавец. Не вышел, как обычно, навстречу, не поприветствовал, вроде бы по-свойски, бодро и весело: «Привет беспартийным передовикам».

Нет. Наш парторг сверлил меня розовыми, горевшими в полутьме кабинета глазками, и у него по-крысиному подрагивала верхняя губка. Я не стал садиться. Спасибо, сказал я, постою, привык, работа у меня, сами знаете, стоячая.

– А ведь ты, Давид Александрович, – говорит крыса, – оказывается, человек с двойным дном!

Я ему отвечаю для начала так (ибо несколько не сомневался, о чем пойдет речь):

– Прошу говорить «вы» и выражаться конкретней. Меня ждет станок.

– Мы теперь знаем, чем вы, Давид Александрович, нафаршированы.

Последнее слово парторг произнес картаво.

– Ну и как, – спрашиваю спокойно, – фарш мой на вкус?

– Антисоветчиной и мировым сионизмом от него пахнет, точнее, разит, а если еще точнее – шибает! Вот у меня на столе запись ваших застольных разговорчиков. Передай я эту бумагу сейчас куда следует, и вы все четверо, включая вашу жену, сгниете в Мордовии! Вы думали скрыть от нас отъезд сына в Израиль!.. Вам бы сорвать последний куш с завода, наполучить подарков и уйти неразоблаченным на пенсию? Не выйдет, господа сионисты, вы ответите за все перед коллективом завода! Теперь я понимаю, почему ты не в партии, двурушник! Прикидывался простачком, пятилетки выполнял в три года, интересы рабочих в местном отстаивал, а сам небось осведомлял своих земляков о положении наших дел!

– Не надо, – говорю, – запугивать меня как пацана, не надо, я не мальчик и не знаю, что там в бумаге у вас написано.

– Тут записаны клевета твоего сына на Советский Союз и его бредни насчет возвращения евреев на историческую родину.

– Ни о чем таком, – отвечаю, помня Федину науку глухо ни в чем не сознаваться, – говорено не было, а то, что Израиль и Палестина – историческая родина евреев, всем давно известно.

– Нет! Историческая родина всех простых людей доброй воли – Советский Союз, а вы там трепались, что даже у русских нет теперь родины, что истребила ихнюю родину советская, дьявольская власть! Трепались?

– Нет, – говорю, – трепались только о хоккее и плохом качестве местной водки. Самито, – говорю, – небось в закрытом обкомовском ларьке берете? А что касается доноса, то за стеной у меня живет мразь, которую я побрезговал однажды раздавить двумя ногтями! Просто я харкнул ему недавно в рожу, как харкнул бы всякому подонку, издевающемуся над женщинами и детьми. Вот к кому, – говорю, – вы прислушиваетесь! Вот как, – добавляю, – беседуете со старым карусельщиком, этими вот руками заложившим первые кирпичи в фундаменте завода. Говорите, чего вы от меня хотите, выкладываете, чем вы сами нафаршированы!

– Я, – говорит крыса, – нафарширован идеями Ленина, идеями коммунизма, а также решениями последнего съезда партии и октябрьского пленума ЦК КПСС. Я также нафарширован пролетарским интернационализмом, стремлением к разрядке напряженности и сохранению мира во всем мире. Наш народ не свернет со столбовой дороги истории. Вашему брату не повернуть историю вспять. Вам не заменить нашего передового фарша тем, чем нафаршировали вас сионисты и ЦРУ.

Одним словом, через неделю на заводском митинге в честь дня солидарности с народами Анголы и Мозамбика ты, Давид Александрович, должен выступить с угрозой в адрес мировой реакции, продажной верхушки американских профсоюзов, Пентагона и происков сионистов в нашем городе. Вчера еще пять любителей фаршированной рыбы подали заявление о выезде. Если ты, Давид, выступишь, учти, я тебе добра желаю, эта бумага пойдет в сортир. Я понимаю, что вещи там бездоказательны и дела с их помощью не возбудишь, хотя твой дружок Пескарев хорошо известен нашим органам. Мы думали, что он притих после отсидки и реабилитации. Мы ошибались. Он – настоящая пятая колонна нашего города. Так вот, если ты выступишь, извини, я был несколько резок, все же у нас сейчас идеологическая война не на жизнь, а на смерть, мы с почетом проводим тебя на пенсию и оставим в Совете ветеранов труда. Я понимаю, что, проработав всю жизнь на заводе, ты не имеешь ничего общего с мировой финансовой олигархией и еврейским капиталом. Тебя совращают в лице сына безыдейная молодежь и махровые антисоветчики, не простившие Родине мелкой обиды, типа Федора Пескарева. Неужели ты хочешь оказаться среди отбросов истории, а не с нами, уже вступившими, как говорит Леонид Ильич, в первую фазу коммунистической формации? Чем плохо тебе при развитии социализме? Все у тебя есть. Есть у нас и трудности, но они общие. Это же прекрасно, когда у людей общие трудности.

– Не надо, – отвечаю для начала, перебив крысу, – зря трепаться. Ты ведь вчера с охоты примотал (приехал). Кабанчиков пару вы там с дружками и блядьми уделали. «Столичной» винтовой водочкой запили и черной икоркой до самых муде (органы) перемазались. Так что не ври, парторг. Нет у тебя с нами ничего общего. Все отдельное: от колбасы до санаториев, столовых, промтоваров и автомашин с персональными шоферами. И самое страшное для тебя и тебе подобной шоблы – не допустить ни за что на свете ликвидации этой отдельной жизни. Самое страшное для тебя – общая с народом жизнь. Я ведь помню тебя жалким сопляком, смахивавшим хлебные крошки в ладонь в заводской столовке. Помню, как, вроде кота, терся ты об ноги цехового и заводского начальства. Помню, как, распознав в тебе злобного, завистливого и верного лакея, бывший парторг почесал у тебя за ушами и ты замурлыкал на теплой лежанке в профкоме завода. Помню тебя, выпрыгивавшего на трибуны всех митингов с выгнутой дугою спиной и шипением в адрес империализма, Солженицына, Мао Цзэдуна, Пиночета, Сахарова и Моше Даяна. Помню великий день твоей жизни, в августе шестьдесят восьмого

года, когда ты от нашего имени послал в ЦК телеграмму о готовности рабочих завода организовать военную дружину для отправки в Прагу с целью спасения братского рабочего класса от все тех же сионистов и фашистов Западной Германии. На твое имя пришла тогда телеграмма от Суслова. Спасибо, мол, справимся сами. Но тебя заметили, ты стал парторгом завода. Ты, наконец, начал соблазнять баб поездками на охоту, шмутками и своим влиянием на ход городских дел. Бабе так просто дать тебе невозможно. Ты жалок и плюгав. Все твои бляды получили без очереди квартиры, и мое преступление в том, что я, кое-что зная об этом, молчал. Проклят будь мой отсохший тогда язык. Ты, – добавляю, – нафарширован не ленинскими идеями, а удовольствием от сытой, бесплатной и праздной жизни.

Ты понимаешь, что после всего сказанного мне обратного пути нет. Но хочу предупредить тебя: на митинге я могу повторить все и кое-что другое. Иных речей больше не будет. Ты понял? А если ты попытаешься сделать зло мне или Федору Пескареву, то список всех твоих злоупотреблений, вымогательств, шантажа, борделей и браконьерских штучек будет отправлен в газету итальянских коммунистов «Унита». И тогда тебе, крысе, крышка. Этот список завел на тебя не я, но в нем есть и мои собственные свидетельства. Я не коммунист, слава богу, мне плевать на дела вашей партии, но как честный человек я не мог не сообщить рабочему классу все, что знаю о тебе и твоём двойном дне. По головке тебя не погладят. Придется тебе жениться на Рите Шварцман из планового отдела, которой ты заделал ребеночка, и линять в Израиль. Впрочем, я напишу, чтобы такое говно не брали на Землю обетованную.

Сейчас я иду и подаю заявление об уходе на пенсию. Срать (по большому) я хотел на твои посулы, садовый домик, будильник и самовар, которые завод выдает своим престарелым рабам за выкачанные из них силы, здоровье и время жизни. Не нужно мне мизерных крох от всей моей многолетней прибавочной стоимости.

Крысенок (парторг на моих глазах превратился в него из крысы) быстренько соображал, как ему быть, что отвечать, слышал нас кто-нибудь или нет.

– Кроме того, – сказал я, – не вздумай мне пакостить. Я имею влиятельных родственников в Америке, торгующих с нами товарами первой необходимости. Не ставь под угрозу крупный товарооборот между нашими странами, иначе придется тебе покандехать (перебраться) из этого кабинетика обратно в цех, к шлифовальному станочку. Он скучает по тебе. Ты понял, засранец, старого карусельщика? Понял, что я не шучу?

Извините, дорогие, за то, что я выдал вас тогда за видных барышников (коммерсантов), но заговорила во мне вдруг бесстрашная кровь полкового разведчика, согрелась и забурлила, родимая, после долгих лет пребывания в холодном и свернутом виде, возмутилась от невыносимости выслушивать от какой-то крысы поучения, угрозы и блевотину партийных заклинаний. Я высказывал ему свои мысли тихим, спокойным голосом, не удивляясь почему-то своей безрассудности, риску и тому, что так легко я порываю с заводом, откуда, казалось, только смерть или жуткая хвороба прогонят меня на пенсию, на заслуженный отдых.

– Разговор у нас состоялся серьезный и откровенный, – говорит крысенок, беря себя в руки и снова превращаясь на моих глазах в крысу. Правда, в слегка потрепанную, слегка ошпаренную кипятком моих слов, но все-таки в жизнестойкую, злобную и упрямую крысу. – Из этого разговора мне стало ясно одно: вы, Давид Александрович, собрались уезжать, – продолжает парторг.

– Да, – подтверждаю, – и послезавтра еду...

Вы бы видели, как он вылетел от изумления из-за стола, как захлопал веками, красненькими веками без ресниц и переспросил:

– В Израиль?

– Нет, – отвечаю, – на рыбалку я уезжаю. Порыбачу и вернусь. В Израиль я пока не собираюсь.

– Жалею, – говорит, – что не раскусил вас вовремя, очень жалею. До свидания.

На этом тот наш разговор кончился.

Что вы на это скажете? Бывают у ваших рабочих подобные разговоры с представителями демократической и республиканской партий? Сомневаюсь...

Дома обо всем молчу. Жена чует, конечно, дурноту положения, но виду не подает, ни о чем не спрашивает, ухитряется, как японка, ежедневно делать из риса несколько блюд, ибо в магазинах – шаром покати: ни сыра, ни масла, одна скумбрия консервированная и овощное дерьмо в банках, от которого возникает гастрит, переходящий, как стало известно многим жителям нашего города, в язву желудка. К тому же прошли праздники. Перед ними на каждую семью выдали по талонам кое-что из жратвы: вареную колбасу, ржавую горбушу и по полкилограмма жирной свинины на рыло (лицо). Поэтому торговая сеть после праздников обычно компенсирует свои предпраздничные широкие и даже купеческие, на ее взгляд, жесты. Пусто в магазинах. Разумеется, было смотаться в Москву, набрать продуктов, но это потеря двух выходных, стояние в очередях, тоска электричек и так далее. Взяли мы с Федей рыбацкие манатки, казанок, картошки, лука, пол-литра «Старорусской» (наша новая водка), хлебушка, квашеной капусты, соленых огурцов, достали мотыля (наживка), надели свои телогреечки и намылились (сбежали из города) на родимую нашу Оку.

Ах, как тогда, дорогие, клевало! Как клевало! Подлещики походили с ума от весны и заглатывали просто голые крючки. И до чего же это прекрасно, если б вы знали, нормально проработав неделю, рыбачить и не думать ни о чем, расслабившись над поплавком, – ни о пустых магазинах, ни о парторгах проклятых, ни о несправедливостях нашей жизни, когда продавцы и завбазы ходят, ворюги, в бриллиантах и ондатрах (мех), а нас оболванивают байками про коммунизм и тошнотворной трепотней про пятилетку качества, эффективность производства, светлое будущее и широкий размах соцсоревнования. Ведь мы, для того чтобы не рехнуться, привыкли за многие годы пропускать мимо ушей весь этот бредовый треп, за который высшие и мелкие партийные трепачи сидят по пояс в черной икре и пускают в потолок из двух ноздрей фонтаны «Советского шампанского».

Рассказал я тогда Феде о своей беседе в «верхах» с парторгом.

– Плохое дело, – сказал Федя. – Как был ты, Давид, наивной дубиной, так и остался. Ты думаешь, что он, испугавшись угрозы, отстанет и забудет о твоём существовании? Не бзди (это слово здесь непереводимо, но оно значит не воняй), не отстанет и не забудет. Он начнет изводить тебя, идиотина!

– Ничего, – говорю, – не изведет. Он не страшной войны!

Тут Федя начал мне объяснять, что страшной войны вот такая партийная крыса и что я не академик Сахаров, которого КГБ радо бы испепелить в крематории или сшибить машиной. Меня в два счета сотрут в порошок дружки парторга из областного управления ГБ, милиции и местных бандюг. Сотрут, и ни одна Би-би-си, ни один «Голос Америки» не скажут обо мне ни слова прощания.

– Хватит, – сказал я, – не будем портить себе нервы и рыбацкое настроение. Я стар, Федя, для авантур и путешествий, да и от тебя я никуда не уеду. Если ты сам не зарубишь себе этого на носу, то придется зарубить мне за тебя вот этой кулачиной старого карусельщика. А ты знаешь, на что она способна. Не будь моим парторгом, – говорю, – не будь, не ставь свою голову (при всей ее замечательности) мне на плечи, не то я с тобой ухи жрать не стану.

После этого мы рыбачили на расстоянии друг от друга, чтобы не бухтеть (не болтать) и не пугать доверчивую рыбу. Потом молча варили уху, молча выпили по стопке, молча похлебали изумительную юшку, а после второй стопки снова разговорились. Я успокоил Федю относительно себя и заверил, что все будет о'кей, как говорят мои внуки, и неужели он не помнит, как я выкарабкивался из заварушек (ситуаций) почище, чем нынешняя. Неужели он забыл мои сумасшедшие рейды на Воркуту и в Сибирь?

Надеюсь, вы не забыли Федино ответа парторгу на его хамское «давай-давай»? Тот старый парторг (сейчас он в ЦК) тоже этого не забыл. Он промолчал тогда, но не сомневаюсь, что успел высмотреть, волк, местечко на Федином горле, куда он вонзится, непременно вонзится желтые клычины (зубы) и рванет ими, раздерет ими живую плоть, чтобы хлынула наземь кровь Фединой жизни. Месяца три прошло, казалось, все забыто. Федя работал себе, станки новые конструировал, рыбачили мы частенько, отводя в разговорах с глазу на глаз душу, пытаюсь разобраться в происходившем вокруг сталинском блядстве.

Горлодеры стояли над нашими спинами, что само по себе унижительно для рабочего человека, долдонили (крикливо надоедали): «Давай! Давай!» И конечно, прекрасно – можете мне поверить – понимали, что именно при такой антинародной бездарной советской системе хозяйствования они смогут жить как рыбы в воде, сыто и долго, до самой старости, до пенсии, успев как следует пристроить в дипломатические, внешторговые, партийные и прочие придурочные ведомства своих уже развращенных сытостью и отцовской сановностью детишек. А там – душа из нас вон, пропади мы все пропадом вместе с марксизмом-ленинизмом, на который им всем было насрать в глубине души, пускай после них хоть тыща водородных бомб падает на эту непонятную страну и непонятный народ, покорно впряженный в оглобли пятилеток, железно сменяющих друг друга и не дающих натруженным битюгам и кобылам ни дня передышки...

«Давай! Давай! Давай!» Кроме этого мерзкого словечка, дорогие, есть слово еще похитрей и погнусней – «Даешь!»: «Даешь пятилетку в четыре года!», «Даешь Днепрогэс!», «Даешь новый грузовик!», «Даешь тысячу тонн угля сверх плана!», «Даешь Родине молоко и мясо!».

Слово это употреблялось, когда политруки затыкали свои глотки и переставали орать «Давай!». «Даешь!» означало, что это якобы мы сами без подзадоривания и понукания сознательно реагируем на призывы партии и Сталина и сами же как бы говорим себе: «Давай, давай!» Этим идиотским, порой весело звучащим «Даешь!» мы подгоняли себя, как плетью, на почти невыносимых подъемах, авралах и всяческих трудовых вахтах. И вот что странно, дорогие: казавшееся иногда непосильным, превышающим наши физические возможности дело вдруг каким-то чудесным образом делалось, свершалось, и мы, лошади взмыленные и взмокшие, изумленно переглядывались со своими погонщиками-политруками. Они с ходу мчались докладывать родному и любимому, мчались рапортовать, потом увещивали наши сбруи очередными медяшками орденов и медалей, перепрягали и снова покрикивали: «Давай!» – до тех пор, пока нам это не надоедало. Тогда, оглушенные трескливой демагогией, мы от злобы и трудового рабочего азарта включали свое второе дыхание и перли, перли, пока снова не вывозили телегу кровососных планов на новый перевал, откуда погонщики, жмурясь, разглядывали какие-то видные только им одним «блестящие перспективы» и «зримые черты коммунизма».

Федя, когда мы собирались, бывало, с заводскими друзьями отметить какой-нибудь праздничек или sprysnutь чей-либо уход в отпуск, вел себя сдержанно, знал, что стукачей на каждом шагу больше, чем лобковых вшей у вокзальной бляди, помалкивал себе, не вступая в разговорчики и не включаясь в острые споры. Но однажды и он сорвался, когда в Москву пожаловал Мао, а Сталин обещал ему построить с братской помощью СССР новый социалистический Китай. Выпил Федя, вдруг затрясло его от бешенства, застучал он кулаками по столу, но тут же остыл и тихо, с огромной болью в сердце сказал:

– Он как был убийцей, так и остался. А мы все – самоубийцы. Посмотрите, что будет, когда, оторвав от себя, вбухаем в желтого брата сталь, хлеб, станки, технологию, нефть, танки, самолеты и «катюши». Хорошо, если на ветер пойдут только наши кровные миллиарды. Это ладно, хер с ними, с семнадцатого больше потеряли, крестьянам собственными своими руками геноцид устроили. Но вот когда китайцы с лихвой отплатят нам за «бескорыстную интернациональную помощь» вполне национальными атомными бомбами на наши головы и даже еще раньше, когда они, встав с нашей помощью на ноги, облагают по-имперски и приделают самой преступно недалёковидной в мире советской компартии глупые, обвислые заячьи уши, вы

тогда посмотрите, что будет. Год сорок первый покажется конфеткой, как ни грешно так говорить. Несчастные наши дети и внуки полягут в новом побоище, хорошо еще, если освобождая родную землю от «самого вероломного и жестокого во всей истории человечества врага».

Примерно так будут выражаться политические руководители, ответственные за очередную национальную трагедию. Безумцы и преступники. Тупые динозавры.

До сих пор неизвестно нам, какая мразь стукнула на Федю. Вполне воз, никто не стучал. Просто не могло быть так, чтобы после ряда откровенных замечаний в адрес заводских транжир и головоотяпов и того разговора с парторгом Раковым Федю не взяли. Взяли, сволочи. Причем взяли так, что никто этого не видел. Сгинул человек, словно сгорел в доменной печи, – и точка. Где я только не искал его (Федя – бессемейный), куда только не писал, какие не обивал пороги – все бесполезно. Сгинул человек. Парторг даже вежливо намекнул мне однажды, чтобы успокоился я и не совал свой нос (какой именно нос, он тогда не сказал, не то я свернул бы ему скулы) не в свои дела.

Месяц нет Феде, три, шесть, год нет Феде, полтора года, год восемь месяцев нет. Каждый день из всего этого времени был для меня, поверьте, я не преувеличиваю, днем глухой тоски, сердечной боли и душераздирающей ненависти к какой-то черной невидимой силе, махнувшей склизким крылом, и вот уже – нет человека. Я научился тогда узнавать по тоскливым лицам, по безнадежному выражению глаз людей, переживших то же, что и я, и стыд сотрясал мою душу оттого, что я не замечал, не узнавал их раньше, занятый своей ударной работой, трудовыми рекордами, рыбалкой и водочкой. Я понял с абсолютной ясностью: если уж в нашем прокопченном, грязном, пьяном промышленном городе столько людей, разлученных со своими близкими, то во всей нашей стране, рвущейся, не переводя дыхания, под знаменем Ленина, под водительством Сталина к светлому будущему, их несметное множество. Хорошо еще, если пропавшие без вести вроде Феде и осужденные страшными, тайными, безликими судами выживали и давали о себе знать. Но какво жить годами без людского участия, с горчайшей мукой неведения в сердце насчет судьбы близкого тебе человека?

Представьте себе, дорогие, что в один прекрасный день ваш Джон пошел, например, развлечься на биржу или в публичный дом. Час ночи, два, три, на бирже уже никого нет, публичные дома тоже должны, на мой взгляд, сделать перерыв, а Джо все нет и нет. Вы обзвонили весь белый свет, у вас это просто, наняли гвардию сыщиков для поиска, поместили объявления в газетах об огромном вознаграждении, но все впустую, доллары ваши, хотя плевать на них в таких случаях, летят на ветер. Приятно вам было бы?

Думаю, что вам очень было бы неприятно и очень больно. Ведь если у вас всякие мерзавцы и ублюдки похищают богатых дядей, тетей и любовниц, то вы хоть выкупить их можете, если, разумеется, вам они милы и дороги. А нам как быть?

В общем, сваливается на меня однажды, на втором году неведения и потери надежды, как снег на голову весточка от Феде – письмецо без конверта и марки, измызганный, измятый треугольничек.

С комком слез в горле я велю Вере сию минуту бежать за бутылкой. Пока она ходила, я сидел за столом и смотрел на письмецо. В каких только карманах оно, наверное, ни повалялось, через сколько добрых рук прошло, какой путь проделало, пока не попало в мой почтовый ящик. Оно лежало там между тошнотворной «Правдой» и журналом «Советские профсоюзы».

И вот с комком в горле смотрю на него и, поскольку адрес написан был Фединой рукой, думаю, надеюсь, что все с ним в порядке, руки-ноги целы, честное сердце не разорвано, светлая голова по-прежнему на плечах. Боже мой, если бы вы знали, какое множество таких самодельных конвертиков отправил я Вере с фронта! Не меньше пятисот, если не больше. И вот выпили мы с ней по стопке за здоровье Феде и чтобы нам дожить до встречи друг с другом, и я, протирая ежесекундно глаза, разгладил листки в клеточку.

Он ничего не писал о подробностях дела. Благодарил судьбу за то, что пережил следствие и не сошел с ума, хотя общее здоровье пострадало не на шутку. Впрочем, шутил он, если бы сейчас на нарах оказалась теплая толстушка, то он не ударил бы лицом в грязь, силенки еще имеются, я в этом могу не сомневаться. Он там на общаке (общие работы). Мастер стройучастка.

Со жратвой худо. Север. Цинга, так как отсутствуют лук и чеснок. Народ разный. Блатные, полицаи, бывшие в плену, власовцы, растратчики крупных сумм, шпионы, вредители, троцкисты, верные ленинцы, политруки, преданные лично Сталину, знаменитые артисты-педерасты (живут с мужчинами) и прочая шобла. Сидеть Феде осталось двадцать три года, два месяца и семь дней.

Главное, писал Федя, отбарабанить семь дней, а годы и месяцы – хуйня на постном масле (кукурузном), вкус которого он уже позабыл. Федя много шутил в письме, конечно, для того, чтобы мне не было мучительно горько, и даже написал стихи: если в городе есть морг – будет в нем лежать парторг.

Перечитал я письмо раз, радуясь тому, что жив, слава богу, мой друг, перечитал второй раз, третий и десятый, пока не обиделся и не возмутился.

«Мерзавец! Негодяй! Скотина!» – сказал я. Он ни о чем не просил. Ни денег, ни посылки, ни лекарств, ни книг – ничего ему не было надо. «Скотина! За кого он меня принимает, – спросил я Веру, – за говно собачье? Я ему покажу!»

И я велел Вере незамедлительно готовить меня в командировку в северные края, в заводской поселок под Воркутой, где волок (отбывал) срок Федя. Моя жена имела от страха неосторожность заметить, что, кажется, Федор мне дороже семьи, детей, жизни, работы и покоя. Я взглянул на нее так, что она онемела на целые сутки. Я любил и люблю, дорогие, жену, ребят, свой карусельный станок, рыбалку, грибную пору, футбол, рюмочку и иногда дамочек, бросающих вызов моей мужской чести. Все это я люблю и уважаю. Однако, сказал я Вере таким тихим голосом, что она буквально затрепетала, если бы не Федя, дважды спасший мне форменным образом жизнь, я не спал бы с ней, не зачал бы наших детей, не содержал бы семью и не продолжал бы уже много лет являться самим собой. Разве же непонятно, как потрясается и не может забыть потрясения душа человека, спасенного другом? Ведь он сам рискует всей своей жизнью в миг, когда, не задумываясь о последствиях, когда, забыв о себе, ради твоего спасения бросается на почти верную смерть, плюя на ничтожно малое количество шансов выкарабкаться целым и невредимым из страшной заварушки? Разве, говорю, тебе непонятно это, старая безмозглая курица?

Кстати, оба раза я умолял Федю бросить меня, идиота, к чертовой матери и уносить быстрее ноги, но он приставлял во гневе кулак к моей роже и командовал: «Цыц!» (молчи). Я дважды должен жизнь своему другу, поэтому я его беззаветно люблю, чувствую вину и сладостный страх перед непостижимостью человеческой души, способной, рискуя собственным существованием, вытащить из могилы другого.

Вы спросили у меня, дорогие, что это я так часто вспоминаю в своих письмах Бога, верую ли я, а если верую, то в какого именно бога и с каких пор? Отвечу вам коротко и просто. Если я всей душой до конца моих дней благодарен другу за спасенную жизнь, то кого же мне благодарить вообще за появление на белом свете, за радость жить и за силу оставаться, несмотря ни на что, не самым худшим из людей, кого же мне, повторяю, благодарить, как не Бога? А насчет того, в какого именно бога я верую, отвечу следующим образом: думаю – на небесах нет политбюро и чего-то вроде Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина – Хрущева – Брежнева, так что выбирать себе бога, подобно тому как многие люди выбирают себе занюханых кумиров и поклоняются им, слепые кутята, теряя человеческое достоинство и верный взгляд на свою природу, лично я не собирался и не собираюсь делать это в будущем.

Я всегда полагал, пораскинув мозгами и прислушавшись душой, что Отец у нас, что Бог, сотворивший всех нас заодно с цветами, рыбой и прочими живыми тварями, – один. Один! И это – замечательно! Вот Его я и люблю.

Что касается Феде, сказал я тогда Вере, то на днях я вылетаю к нему.

Беру отпуск. Я твердо велел собрать необходимое: смену белья и рубашку, а для Феде мои теплые вещи, рукавицы собачьи, кашне, японские трофейные шерстяные кальсоны и дубленую душегрейку.

Затем что я делаю? Подаю заявление об уходе в отпуск. Желаю, написал, провести отдых на зимней рыбалке, а во-вторых, устал и разболелись фронтовые раны. Мне всегда шли в цехе навстречу, потому что я сам всегда старался так поступать с людьми в бытность свою предпрофкома и предместкома. Я был в цехе примерно такой фигурой, как ваш Джордж Мини, если, конечно, меня уменьшить в миллион раз. Заказываю билет. Изучаю на карте местность, где сидел Федя.

Север, морозы, ужас.

Затем сажусь на электричку и еду в Москву. Никогда не любил я Вериного брата Яшу, но ради такого случая решил поклониться. Яша – прохиндеище (полугангстер) и жулик в нашей торговой сети. Директор продуктового магазинчика. Но говорить об этом дерьме мне не хочется. Жулик есть жулик, хотя он оправдывает себя полной невозможностью работать честно в советской торговле, не наживаться на излишках, пересортице, продаже левых (ворованных на мясокомбинатах и т. д.) продуктов, спекуляции дефицитом и прочих махинациях. Я привез от Яши, которому в споре о советской власти чуть не начистил рожу, тушенки, топленого масла, витаминов, пару бутылок коньяка, корейки и еще кое-какой бациллы (в лагерях так называют жирные вкусные вещи). А спор у нас с Яшей, с этой рыжей наглой тварью, вышел из-за советской системы жизни. Яше она исключительно была по сердцу, я же утверждал, что она – говно, созданное специально для благоденствия жулья, спекулянтов, взяточников, генералов, партийных придурков, балерин, футболистов, шахматистов и лживых писателей. И что нет ничего легче, чем разворовывать так называемую соцсобственность, якобы принадлежащую народу. Я вам, дорогие, напишу как-нибудь о железной круговой поруке торговой сети нашего города с горкомом партии, милицией, прокуратурой и КГБ. На этом пока вынужден кончить, ибо один еврей летит на днях в Вену, я должен помочь ему собраться и отправить с ним эту часть письма. О том, как я съездил в Воркуту, в следующий раз.

Продолжаю в третьей главе свое третье письмо, из которого вы узнаете, что произошло после моего разговора с парторгом, нафаршированным, по его словам, марксизмом-ленинизмом и беззаветным интернационализмом.

Если вы не забыли, Федя на рыбалке уговаривал меня не дразнить гусей и быстро намыливаться, подав на выезд. Я не желал принимать его рекомендации близко к сердцу. Зачем? Я никуда никогда не собирался. Я спокойно готовился отдать себя тихой старости и нескольким скромным удовольствиям. И хоть город наш дрянь и хозяйничает в нем изворовавшееся и изоглавленное дерьмо, жизнь везде есть жизнь, и главное все-таки, скажу вам от чистого сердца и громадного опыта, больше любить ее, чем ненавидеть всякую шушеру (шоблу), без которой жизнь конечно же была бы окончательно ослепительной и прекрасной.

Но ладно. Я снова отвлекся. Итак, иду в отдел кадров подавать заявление. Не поднимая на меня глаз, читал его бывший начальник горуправления МВД Кобенко, слетевший с поста за попытку прикрыть за взятку дело о крупных хищениях на оптовой базе. Всем нам было известно, что до 12.00 дня в кабинет к нему лучше всего не заходить. Злой бывал, как обоссанный поросенок, пока не опохмелится. Опохмелялся же у себя в кабинете.

Приводил в порядок сердце, голову и печень с 10.00 до 11.30. Раскачивался, подлец, сосуды расширял. Но, пока не расширились они, гиблым было делом получить даже справку с места работы. Но справка-то, хрен с ней, со справкой. Кобенко минут десять смотрел на тебя

мутными красными бельмами, молча, с хмурой ненавистью и брезгливостью. Затем эта падла доставал из сейфа твой учетный листок, который все называли кандибобером, и еще минут двадцать тщательно его изучал. Похмыкивал при этом, посапывал, поскрипывал зубами, вопросы дурацкие задавал с большим значением, как бы давая тебе понять, что ты давно уже, мутила, попал в искусно расставленные ловушки, что заpiresательства твои бесполезны, коготок завяз – всей птичке пропасть, сколько веревочке ни виться – тайное станет явным, и нет такой крепости, где большевики просили бы милости у природы, если она не сдастся, когда ее уничтожают те, кто не с нами и против нас. Примерно так он трепался, подозрительно и злоехидно уточнял, есть ли родственники за границей, были ли они или ты сам на оккупированных врагом территориях и слушаешь ли по радио вражеские голоса. Промурывив и почти доведя до белого каления свою наивную жертву, гнусный Кобенко между делом просверливал ее невинным вопросом: куда нужна справка, кому и зачем? Человек терялся и, я уверен, в два счета подписал бы протокол о том, что им сделана преступная попытка получить справку с места работы с целью дальнейшей передачи последней в ЦРУ, Джойнт, Пентагон, «Голос Америки» и НТС. Хорошо, если в твоём кандибобере (досье) не имелось порочащих тебя выговоров, сведений о «нехороших настроениях», отсутствии энтузиазма при давнишних подписках на займы и о невыходе на грабительские бесплатные субботники в честь дня рождения все того же вечного именинника – Ильича. Тогда тебе в конце концов выдавалась справка. Но садист полупьяный доходил, бывало, до того, что требовал запроса с «места истребования справки». Вот что делал, сволочь!

Я же внаглую приперся к Кобенке ровно в 10.00 утра, когда он не успел еще рухнуть в свое кресло. Приперся и сунул ему в рыло заявление. Долго его читал Кобенко, очень долго, но я ведь не соленый огурец, я был больше чем готов к этому и вдруг испуганно спрашиваю:

– Что с вами? Что с вами?

– Что? Как? Что? Как? – всполошилась мерзкая бюрократина.

– Жилы, – говорю, – вспухли на лбу! Белки пожелтели! Удар сейчас будет!

– Вынимаю из кармана чекушку (250 г) самого сивушного самогона, нарочно не очищал его, всовываю горлышко прямо в глотку Кобенки, трясу его за грудки. – Пей! Пей! Не то подохнешь! – втолковываю.

И что бы вы думали? Вбулькал, засосал в себя Кобенко всю чекушку сивухи, засосал, занюхал моим заявлением, отдышался и расплылся.

– Спасибо, – говорит. – Все-таки среди вас есть неплохие люди. Уволим тебя быстро. Не сомневайся. Но давай без фокусов и этих самых ваших штучек.

Ты ведь скрыл от советской власти и родного завода, что имеешь родственников в самом центре империализма, в Лос-Анджелесе. Вчера по программе «Время»

Валентин Зорин объяснял, как там беднячки с голоду умирают, работы по десять – двадцать лет не имеют и слюни глотают, глядя на витрины ювелирных магазинов. Понял?

– Понял, – говорю. – Бегунок давайте.

Бегунок – это обходной листок по всяким инструменталкам, библиотекам, кассам и так далее.

– Вот тебе, Ланге, бегунок. Твое счастье, что о родственниках поздно узнали мы. Поздно. Не то были бы у тебя неприятности, несмотря на твой большой стаж, честный труд и рационализаторские предложения. Нехорошо.

Извини, что икаю. Перебрал вчера... Кем там и где работают твои империалисты?

– Половина, – говорю, – нигде не работает.

– Вот видишь! А ты у нас ни дня без работы не был. Вторая половина что делает?

– Вторая половина, – отвечаю, – вынуждена трудиться, ибо она в отличие от первой еще не вышла на пенсию.

– Место их работы? – возмнив себя после моей сивухи большим чекистом, спросил, закуражившись, Кобенко.

Терять мне было нечего. Вы уж извините, дорогие, но я брякнул:

– Пентагон, ЦРУ и котельная в ООН.

– Этим пускай занимаются другие органы. У меня своей работы по горло. А мне вот интересно, с чего это вдруг ты, Ланге, сионистом заделался? – спросил Кобенко.

– Что значит – сионистом? – говорю.

– Евреем, так сказать, и уехать хочешь.

– Евреем я всегда, – говорю, – был. Не скрывал и не смазывал происхождения. И умел вот этой кулачиной затыкать глотку тому, кто прохаживался на мой счет. Ехать я никуда не собираюсь. Поздно мне ехать. Я всю жизнь проработал и теперь рассчитываю отдохнуть.

– Все вы так говорите. А на заводе и в городе уже происходит лишняя утечка евреев, – обиженно сказал Кобенко. – Чем вам тут плохо? Зубы дергаете, в НИИ денежки гребете, в таксопарке директор из ваших, учителя есть, завмаги, только ты, Ланге, белая ворона: рабочий.

– Я, – говорю, – такой квалификации карусельщик, что могу с бабочки пылью резцом снять, и она этого не заметит. Бывайте здоровы.

– Бывай, Ланге. Но подписочку ты мне оставь, что не собираешься закатывать в общественных местах свой уход на пенсию. Не баламутить воду. Нам стало известно, что ты ищешь повод для публичного выступления. Давай теперь моей «винтовочки» пшеничной глотнем. Оставляй мне подписочку и оформляй расчет.

– Ничего я подписывать не собираюсь, а парторгу Ракову, который, я вижу, устраивает вокруг меня нехорошую возню, передай, что он найдет приключение на свою жопу. Непременно найдет, потому что ищет. Так и передай.

– Не лезь на рожон. Советую по-дружески. И от Пескарева держись подальше. Ты ведь не враг наш, я чую, а тот – махровая нечисть и антисоветчина. Держись подальше.

– Спасибо за совет, – говорю, – но мы больше тридцати лет корешуем (дружим). Светлей головы и благородней сердца я не знаю. Если бы все русские люди были такими, как Пескарев, то ручаюсь, что бардака в России не было бы вообще, да и люди не грызли бы глотки друг другу, как волки.

– А ведь ты и вправду нафарширован черт знает чем, Ланге. Больше не о чем нам трепаться. Можешь идти, пускай тобой занимаются... там. Спасибо тебе за первачок. Хорошо от него. Иди, – говорит Кобенко.

Конечно, по цеху, да и по всему заводу моментально слух прошел, что ухожу я на пенсию. Потирают руки весело братья пролетарии и говорят: «С тебя, Давид, причитается, но и мы за бутылкой не постоим. Когда провода?»

А что мне было отвечать? Я ведь почувствовал, что прячут от меня глаза члены Совета ветеранов труда, профсоюзные боссы и месткомовцы. Прячут глаза, не заикаются даже о вечере во Дворце культуры имени Ленина, в котором уходящих на пенсию рабочих торжественно провожают начальство, молодежь и друзья. Преподносят им всякие идиотские, смешные и полезные подарки, выступает самодеятельность, всем весело и приятно, а потом свежеиспеченные пенсионеры приглашают не весь, конечно, зал, но самых близких друзей и родных врезать по стопке, закусить и спеть старые песни в малом зале, где уже накрыли жены и дочери скромные столы, и в душе у многих праздничное, хотя и грустное немного чувство.

Я сделал вид, что меня абсолютно не волнуют пышные провода, о которых, если говорить честно, я мечтал как мальчишка. Ведь я кончал трудиться, я бросал труд, который позволял мне уважать себя как мастера, который даже в голодную послевоенщину веселил и радовал мою душу, который я любил, как крестьянин – землю, летчик – небо, хоккеист – шайбу и так далее. Разве не праздник – день, когда ты перестаешь быть рабочим человеком? Праздник! Надо, не сетуя, расставаться в положенное время с женщиной, с трудом, с вином, со своими физическими возможностями, которые всю жизнь не по-хозяйски нещадно разбазаривал, но если бы не разбазаривал, то вообще не ведал бы, как некоторые, что возможности существуют, вот

какая штука. Надо, одним словом, расставаясь с чем-либо, радостно и мудро встречать новые самочувствия, включая старость и смерть, если, разумеется, Бог пошлет их нам, сохраняя в нас простоту и достоинство.

Трудно это, невероятно трудно, но когда ты превозмог тоску уныния по прошедшему, ты найдешь столько неожиданных радостей в оставшемся времени жизни, что подумаешь пораженный: недаром с первых своих шагов мы завидуем старшему возрасту.

Итак, я беру расчет. Удивленным этим фактом заводским людям объясняю свое увольнение плохим состоянием здоровья и желанием посвятить остальную жизнь рыбной ловле. Беру расчет, но перед окончательным уходом из цеха прибираю свою старую карусель, свой станок, вылизываю его соляжкой и ветошью, продуваю все пазы станины сжатым воздухом, чтобы ни стружечки там не было, сажусь на нее, ставлю рядом чекушку, кладу пару пирожков, помидорину, лучку зеленого, достаю из своей старинной рабочей тумбочки пару стопок, наливаю станку на прощание, наливаю себе, чокаюсь с ним, спасибо тебе, дорогой, говорю мысленно, спасибо. После жены, детей и друга больше всех я любил и люблю тебя, будь здоров. Выпиваю стопку, вторую выливаю на станину, никого из-за слез не вижу вокруг, сижу, задумавшись, и вспоминаю по крошкам все свои рабочие годы, черные и светлые дни, счастье своих рабочих рук, умевших, слава богу, делать по-человечески то, что им приходилось делать, вспоминаю полезные общему делу инженерные мысли своей не такой уж глупой головы, и не мешали тогда почему-то моим воспоминаниям всплывавшие в них партторговские и директорские рожи и обидные для рабочей совести словечки: «Давай! Давай! Давай!»

Еще по одной выпили мы с каруселью моей дорогой и старой, взял я в руки себя, встал, прощай, говорю, спасибо, помирать начну – встанешь ты перед моими глазами, посажу на тебя всех близких своих, и будет это последним из всего, что пришлось увидеть мне, пока я был жив, на земле, прощай.

Вздыхнул, слезы смахнул, огляделся. Столпились вокруг меня и моей карусели друзья по цеху – рабочий класс, – все те, кого знал тыщу лет, и малознакомые, молодые люди. И вам, говорю, спасибо. Станок с собой не прихватишь, поэтому я с него начал, а вас жду у себя в субботу, милости прошу, приходите, вы мне лучший подарок.

От идеи устроить банкет раз в жизни в кафе или в ресторане я отказался с самого начала. Вера моя хоть и курица, но не глупа. Она правильно рассудила, насквозь видя советскую жизнь, что в ресторане обдерут, как зайца, говна подсунут неполные порции, водку и вино разбавят водой, нахамят, и все это втридорога. Дома лучше.

Но что же оказывается, дорогие? Что вдруг чуть не подкосило меня, когда я узнал, что партторг и начальник цеха вызывают к себе по одному моих приятелей и просто запрещают идти ко мне в гости. Я, дескать, человек с двойным дном, сионист, собираюсь в Израиль, и надо мне испытать всю меру рабочего презрения как двурушнику, темниле (мошеннику) и, воз, «пятой колонне». Фомин, Буряков, Загоскин, Пудовилов и еще человек десять сами после разговоров с начальством пришли и обо всем мне рассказали. Кроме того, их предупреждали, что нахождение в одной компании с Пескаревым – не такое уж безобидное дело, поскольку он ярый антисоветчик, умело скрывающий свою сущность и только и ждущий момента вцепиться в горло советской власти или выйти из-за угла с бандитским ножом.

Я сначала впал в бешенство. Разбил стул о половицу и хотел бежать в партком чистить рыло Ракову. Хотел послать Брежневу письмо с перечислением всех раковских паскудств от полового разбоя с использованием служебного положения до получения взяток за квартиры и садовые участки. Потом подумал, при чем тут Брежнев? Что он сам, что ли, из другой породы? Из той же. Только побойчей, понаглей, поподлей и понапористей. Был бы он иным человеком по натуре и мыслям – не расплодилось бы вокруг в последние годы столько откровенного вора, столько хапуг и лгунов, прикрывающихся чинами, партбилетами и пускающих нам пыль в глаза призывами и лозунгами. Плевать.

Разве хоть раз за всю историю советской власти читал я в газетах отчет о судебном заседании по делу разложившегося парторга? Не читал. И не прочитаю.

Плевать! Ничего нового в принципе мне не открылось.

– Ребята, – сказал я, – плевать нам на них, но не желаю я подводить вас под монастырь (делать подлость). Не желаю. Я на пенсию выхожу, а вам еще работать. Зачем неприятности, дерганье нервов и прочие штучки. Лишняя рюмка не сделает моего отношения к вам прекрасней. Я и так вас всех люблю и уважаю. Пусть Раков подавится моими проводами. Душа из него вон. Отметим как-нибудь втихаря, на рыбалке.

Обидел я ребят поневоле. Правда, хотел сделать лучше не для себя, а для них. Обидел. «Скотина ты, – говорят, – готовь стол и ни о чем не думай.

Ракова мы ебем в его гнилую душу!» Именно так они и сказали, могу ли я из их песни выкинуть хоть словечко?

Вову с женой вызвал из Москвы на празднество и тут же обещал пойти в жэк заверить разрешение.

Вы спросите, почему я никогда ни слова не пишу о своей дочери Свете?

Почему не вызвал ее, как Вову? Отвечу в двух словах, остальное при встрече.

Ее как испортили душевно в детском садике, внушив, что дедушка Ленин самый хороший, самый благородный, самый умный и самый живой человек на всем белом свете и никогда не умрет, так дочурка моя помешалась на этом бандите с большой дороги, на этом любимом папе всех нынешних террористов, убийц и похитителей. Просто помешалась. Она была неглупой, славной девочкой. Я думал, пройдут все эти несерьезные штучки, переболеет Света портретиками Ильича, расклеенными ею над кроватью, так что места живого на стене не хватало, переболеет идиотскими полоумными стихами о добром дедушке, желавшем счастья всем людям, светившемся самой скромностью, простотой и сердечным вниманием даже к мелким людским нуждам, переболеет, надеялся я и старался не травмировать детскую душу, в которой мерзкая пропаганда подменила неременную тягу к чему-либо истинно святому поклонением лживому идолу.

Светочка буквально молилась на него, зачитывалась книгами, от которых лично меня тошнило, по двадцать раз смотрела фильмы вроде «Ленин в Октябре». Школа только закрепила в ней уродливое чувство, заслонявшее – я замечал это – живую жизнь, жизненные отношения, извращавшее нормальные привязанности к матери, к дому, к брату, к отцу. Она дрожала от негодования и презрения, когда я привычно говорил по какому-нибудь немаловажному поводу: «Даст Бог», «Не дай Бог», «Слава Тебе, Господи».

– Все, что у тебя есть, отец, тебе дал Ленин, – говорила Света – активная комсомолка. – Без Ленина кто бы ты был? Что было бы с миром? Каждая секунда подтверждает правильность его учения...

Спорить со Светой было невозможно. В спорах мне помогал Федор. Он вежливо по косточкам разбирал «великое учение», предлагал Светиному вниманию документальные факты – свидетельства чудовищной кровожадности и аморальности ее любимца, но все бесполезно. Бесполезно. Фанатики мне напоминают слепых от рождения людей. Разве им доказать, что белое – это белое, а черное – не красное? Нельзя. Единственный цвет, который мог бы безошибочно воспринять и навек запомнить фанатик, – оранжево-золотистый, но для этого фанатику нужно сначала врезать по лбу дубинкой, чтобы у него искры из глаз посыпались. Вот они-то и будут оранжево-золотистого цвета.

Однако хоть Света моя и была фанатичкой в полном смысле этого слова, я не мог пойти таким путем, не мог вроде бы с помощью праведной силы вышибить из ее души идолов, выжечь их след, а потом устроить в Светиной голове сквозняк, чтобы она открыла заложенные глаза, чтоб она с ужасом убедилась в полном несоответствии картины действительной жизни со всякими сладкими посулами и ленинскими проектами и стала нормальным человеком, называю-

щим белым белое, кроваво-красное не светло-розовым, а кроваво-красным и достойно, как все мы, несущим свой крест.

Одним словом, чтобы жизнь в ее глазах была такою, какая она есть на самом деле, а не такой, какой она кажется людям, изолированным от всех живых источников знания действительности, чьи глазки давно заплыли жирком, страхом и грязным цинизмом. Так формулировал Федя, а я был во всем с ним согласен.

Что, вы думаете, отвечала на это моя бывшая дочь? Она спокойно, но несколько побледнев, отчего ее лицо становилось отвратительно красивым, говорила:

– Двадцать лет тому назад я не задумываясь отнесла бы запись нашего разговора в органы. Вы негодяи и политические трупы! Вы пользуетесь моей либеральной порядочностью! Почему бы вам не выйти на площадь и не сказать в открытую все, что вы думаете? Вы не видите ничего дальше своих поплавок!

Вам плевать на то, что необходимо делать людей счастливыми, освобождать от ярма капитала и унижительной потогонной системы! Вам плевать на голод в Африке, на кровь во Вьетнаме, на то, что миллиардеры живут в неслыханной роскоши, а в Нью-Йорке крысы едят негрятских детей! Вам на все плевать!

Мещане! Сытые, тупые мещане. Может быть, вы все-таки выйдете на площадь?

Улыбаетесь? Страх – лучшее свидетельство вашей политической слепоты и неправоты. Рыбаки и алкоголики!

– Однажды Федор Петрович, – заметил я, – сказал парторгу все, что он думает о нем и о его партии. Знаешь, дочь моя, чего это ему стоило? Одного легкого, двадцати девяти зубов, пятидесяти процентов зрения, отмороженных рук и золотого цвета волос. Ты слышишь, уродина?

– Эрнесто Че Гевара отдал за свои убеждения и действия жизнь, – ответила Света. Портрет этого освободителя народов тоже висел над ее кроватью.

После одной из подобных бесед, дорогие, Света убежденно сказала, что больше я ей не отец, что она ненавидит меня как олицетворение темной и злой силы, мешающей человечеству расправить крылья и лететь над болотами жизни к обетованной земле коммунизма, где один смеется, а сорок девять тонких, звонких и прозрачных горько плачут и невесело поют. Последние слова добавил, разумеется, я и дал Свете по морде. Дал от обиды и чистого отцовского сердца, о чем ни капельки не жалею. Но вы бы посмотрели, что было тогда с матерью Светы! Она харкала кровью и билась в истерике. Она выла на весь дом:

– Господи, за что? За что ты послал мне такое горе, Господи! Лучше бы она родилась мертвой!

– Не плачь, мать, не вой, – сказал я тогда, – не одних нас поразила в самую душу, в самую плоть эта страшная зараза. Пусть живет эта дамочка. Ей ведь жить много лет, а не нам. И, не к нашей радости, верь мне, она еще получит свое.

– Не дождетесь! Куска хлеба больше от вас не возьму! Вы не стоите двух букв из его сочинений!

Света имела в виду сочинения Ленина. Она действительно ушла со второго курса своего истфака на службу пионервожатой. Сама питалась, сама одевалась, разговаривала с нами как чужая, обещала скопить денег и построить себе кооператив. До меня доходили слухи, что участвовала в облавах на каких-то бородатых художников, была однажды, а воз, и не однажды, при обыске, писала статейки в областную молодежную газетенку, но по части жить с кем-нибудь – ни-ни. Чего, казалось мне, не было, того не было.

Видите, что получилось из моего желания рассказать вам вкратце об отвратительных отношениях отца и дочери? Ровно десять лет мы не сказали друг другу ни слова. Ровно десять лет. Когда наши политические руководители почувствовали в 1968 году, что если так дело пойдет дальше, то и у них задымится земля под ногами, а следовательно, недопустима попытка

чехов переделать полицейское мурло социализма в человеческое лицо, и захватили бедолагу Чехословакию, я сказал Свете последнее свое слово. Это случилось после того, как я услышал по «Голосу» об избииении и аресте молодых людей, вышедших на Красную площадь и сказавших откровенно все, что они думают по поводу гнусного вмешательства сильного хама во внутренние дела маленького народа, возмущенного уродствами образа своей жизни.

– Вот что делают с теми, кто выходит на площадь, – сказал я.

– Это честнее, чем трепать языком за бутылкой и держать фигу в кармане, – ответила Света.

О, какой счастливой, довольной и радостной она была в те дни! Вечерами не отходила от радио, зарывалась с утра в газеты, кому-то звонила, поздравляла, обсасывала подробности, сожалела, что Дубчека публично не повесили, мерзко орала в трубку: «Ленка, наша взяла!.. Валька, включи радио!.. Юрка, ты читал? Ты так проспидишь все на свете, балда несчастный!»

Может быть, это было жестоко и не по-еврейски, но я не выдержал и попросил Свету обратиться из дома к чертовой матери, чтобы я не слышал мерзостей и мог сменить обои, заляпаные идиотскими лозунгами и вспухшими от времени портретами благодетелей человечества, замызганными стены моего жилья. Комнату тебе, добавил я, буду оплачивать, ибо ты уходишь из дома по моему желанию. И дело, говорю, не в том, что у нас разные взгляды и симпатии. В тебе не только нет человеческих чувств к тем, кто дал тебе жизнь, но ты, ко всему прочему, нас ненавидишь, ты стыдишься нас и нашей фамилии. Ты краснеешь, когда ее слышишь, мне рассказывали об этом учителя, и, уверен, продала бы нас на грязном базаре в обмен на другую фамилию. Ты и сейчас краснеешь, ибо я говорю правду, которую ты запикиваешь обратно в свою совесть, как я запикивал однажды на балу во Дворце культуры вывалившиеся из носков тесемки кальсон...

Света охотно ушла. Ушла без скандала, но мать глубоко задела и оскорбила, сказав, что она погубила свою жизнь, хлопоча на кухне и штопая мне носки, что она прожила в рабстве под пятой темного и тупого человека, сосредоточившего все свои интересы на рыбалке, друзьях, водке, телевизоре и в забивании козла (домино). Я напоследок ответил, что лучше жене быть в чудесном рабстве у любимого мужа, чем любить сушеного сифилисного идола и напоминать собой сумасшедших, которые живут как во сне, ничего не видя вокруг и стараясь не замечать фактов, тревожащих их бесконечные сновидения.

Света ушла. Она работала, училась, вертелась в райкоме комсомола, я платил за комнату, а мать – эта старая добрая курица – тайком от меня подбрасывала ей денюжку и тряпок.

Могут ли у вас быть, дорогие, такие явления? Впрочем, что я спрашиваю?

А Патриция Херст? Ей-то чего не хватало? Я понимаю, не хлебом единым сыт человек, но вот что я, однако, заметил, размышляя о наших странных временах и глядя задумчиво на поплавок: очень трудно поймать хорошую рыбку на плохую наживку. Вернее, не трудно, а невозможно. Точно так же черти берут на удочку человека. Ведь не предложишь человеку в качестве наживки откровенное чертовское зло? Правильно? Только преступники-выродки клюют на него. Но вот на хитрую пилюлину, внутри которой притаилось смертельное, острое зло, а снаружи она приманивает нюх сладким и аппетитным добром, человеческие души клюют зачастую моментально. Не успевают их подсесть всякие ленины, сталины, гитлеры, мао цзэ-дуны и прочие политуки. Клюют люди, а потом выпучивают белые от безумия глаза на небо, и растопыривает ихние жабры жуткое внезапное удушье. Я не могу иногда, как хороший рыбак, не восхититься хитрыми чертями, которые сначала шибко и умело взбаламучивают воду жизни. Люди при этом, подобно рыбам, не то что хлеба насущного не видят и кислорода не чувствуют, но и не соображают, наверное, в крошечной тьме, где дно, а где небо. Поэтому мечутся люди в поисках пищи и света, и самое теперь легкое – воспользоваться этим неистребимым, невнимающим рассудку инстинктом, наживить красного мотыля на загнутое, чтобы рыбине не сорваться с него, острое жало и, зная, что клюнет вот-вот стерва, ждать (ведь секунду назад

было рано, а через секунду будет поздно), ждать и подсечь именно в тот момент, когда, мгновенно распознав смертельную опасность, рыбина еще успеть могла бы сорваться с крючка, могла бы спастись...

Последнее время регулярно недосыпаю, так как должен дописать вам до конца обо всем. Голова иногда идет кругом: так много накопилось, а излагать трудно, и я жалею, что не вступил в свое время в литературный кружок при Дворце культуры. Но ничего. Даст бог – выведет. Сейчас я опишу вам с некоторыми любопытными подробностями мои проводы на пенсию. Подсчитали мы с Верой гостей. Основных набралось пятьдесят с лишним человек, а тех, кто заглянет на стопку случайно, набралось бы, вероятно, не меньше, если не больше. Подбили сумму расходов. Прикинули приблизительно меню. У нас в нашем засраном городе не имеется, как у вас, супермаркетов на каждом шагу. У нас есть всего один универсам, по полкам которого изредка прыгают сардинки за ставридками и скумбрия за рыбными тефтелями. На месте мясного отдела продают скороварки, мясорубки и детские ночные горшки. Недавно в этом универсаме нескольких женщин арестовали и вломили по пятнадцать суток. Знаете за что?

Возмущенные торговой пустотой огромного помещения, они потребовали жалоб и предложений. Им нахамил, конечно, директор, но после ряда издевательств и угроз выдал. Тогда женщины на глазах у толпы, не знающей, кого бы ей сожрать от злости и гнева вместо отсутствующих продуктов, разорвали на части и в знак протеста на глазах каких-то иностранцев, щелкавших фотоаппаратами, слопали в один присест и жалобы и предложения. Ни одного листика не осталось в довольно-таки пухлой книге. Тут кто-то крикнул вдобавок:

– Конституцию брежневскую пора сожрать! Она пожирней будет!

Если бы, на беду, протестанток в магазине не было иностранцев с их вездесущими аппаратами, то все, очевидно, обошлось бы. Но при сложившемся обороте дел милиция по звонку КГБ забрала и «незадачливых фотографов, и нарушительниц порядка, поддавшихся на провокации сионистских и диссидентских провокаторов», как потом выразилась газета нашего города «Рабочее знамя».

Иностранцы оказались чехами и поляками, приехавшими перенимать передовой опыт советской торговли и нарпита, с делегацией от своих профсоюзов. Пленку у них отобрали, проявили, выявили главных едоков жалобной книги среди женщин и влупили съевшим с первой по пятую страницу по пятнадцать суток ареста, а остальным по десять. В книге было пятьдесят шесть страниц. Но посадили всего восемнадцать женщин. Тридцать восемь из них оказались беременными, матерями-одиночками, больными на больничных листах и старыми пенсионерками.

После этого одну половину универсама отвели под горпункт по приему пустой посуды, а вторую половину под винно-овощной отдел и бюро «Спортлото».

В общем, прикинули мы меню, и стало ясно, что необходимо ехать в Москву унижаться перед воровской рожей нашего родственника Яши. Без него проводы были бы не проводами, а грустными поминками по селедочке, колбаске, шпротам и баклажанной икре. было, конечно, обойтись без этого прохиндея (говнодава), но пришлось бы толкаться в очередях по два-три часа и к вечеру сосать валидол, прислонившись к стене Музея Ленина, что около ГУМа. Я направился, как всегда в таких случаях, в культотдел профкома завода.

– Готовьте, – говорю, – экскурсию. Пора пришла.

Поясню вам теперь вкратце, что такое «экскурсия». Профком выделяет большой автобус, а то целых два или три. Составляются списки передовиков производства, почувствовавших необходимость побывать в мавзолее, музеях революции, Ленина и Вооруженных Сил. Рвались на эти экскурсии почти все рабочие и служащие, писали заявления, где клятвенно заверяли, что жить больше не могут без Мавзолея и Выставки достижений народного хозяйства. Но места в автобусах выделялись самым лучшим, самым активным, стукачам, разумеется тайным, вроде моего соседа, агитаторам и воинствующим атеистам.

Меня обычно назначали руководителем экскурсии. Почему, вы поймете по ходу моего рассказа. Везунчики-экскурсанты брали рюкзаки, авоськи и простые мешки из-под муки и картофеля. Каждый везунчик обязан был в свою очередь взять деньги на продукты еще у пяти-шести человек. Если это условие не соблюдалось (от братской солидарности партия многих давно отучила и превратила в жлобов-эгоистов), то человека заносили в черный список и экскурсий по памятным ленинским местам он больше не видел как своих ушей. Потому что жрать охота не ему одному – черствой скотине, – а всем его товарищам по работе, которые практически и являются в нашем плохо снабжаемом городе соседями.

Итак, представьте следующую скульптурную группу работы Вучетича: автобус «ЛАЗ» битком набит экскурсантами, счастливыми до самой задницы.

Сидят на коленях друг у друга и в проходе. При близости пункта ГАИ все сгибаются на полу в три погибели, а по Москве только так и едут, но никто не в обиде: впереди экскурсия и возвращение домой, где тебя ждут, как победителя, как Деда Мороза, и простили в душе все прошлые грешки по выпивке и блядоходу (измена мужу или жене). Мы поем песню про крокодила Гену, совсем как малые дети, но с похабными словами: «Прилетит Чебурашка в голубой комбинашке и устроит бесплатно стриптиз. Крокодил дядя Гена вынет член до колена – это будет детишкам сюрприз. Он играет на гармошке у прохожих на виду» и так далее.

Вот какой культурный уровень образовался у нас, дорогие, за шестьдесят лет советской власти. В общем, мы поем, считаем версты, останавливаемся иногда отлить (помочиться) и едем дальше. Выпивать по дороге в Москву после одного инцидента строго запрещено. Разуваев Игнат Иванович, фрезеровщик, поехал с похмелюги и в автобусе вылакал четвертинку самогона без закуски. По жребью ему выпало идти не в ГУМ, а в мавзолей. Пока сходили вниз, его замутило и вырвало. Хорошо еще, что там заставляют снимать шапки. Игнат Иванович догадался сплюнуть в шапку и ухитрился как-то оставить ее в углу у стены. Потом, не глядя на Ильича, юркнул на выход – и бегом, бегом подальше от мавзолея. Отморозил уши и заблудился в Москве. Ждал нас на шоссе два часа. Подобрали мы его почти оцепеневшего от мороза. Он еще легко отделался.

А Федотов вообще упал возле хрустального гроба, зарыдал и забил себя в грудь кулаками. Накипело, видать, что-то в душе. Из партии за это его исключили.

Так что все едут трезвые. Но вот Москва. Задумываюсь, как Кутузов, и принимаю решение, где лучше устроить стоянку: в районе Колхозной площади (там много мясных магазинов и неподалеку Музей Вооруженных Сил), на Ленинском проспекте (есть хороший гастроном с мясом, но никаких музеев) или на Манеже. Рядом Мавзолей, Музеи Ленина, революции, выставка советских художников и в двух шагах от них показ динозавров, бронтозавров и прочих ископаемых в голом скелетном виде. Это – самый интересный музей, но заход в него приравнивается к заходу в магазин и за культурное мероприятие не засчитывается. Обычно я предпочитал стоянку на Манеже, хотя это было сопряжено с риском подвергнуться разговору с милиционерами. Они же прекрасно понимают, что такое экскурсии по ленинским местам, увидят полный сидоров (сумки) с продуктами автобус и начинают, гады, вымогать на бутылку, а не то сообщат в партком, чем мы тут занимались под видом прохода через усыпальницу отца государства.

Продолжайте эту картину представлять на шестьдесят втором году советской власти. Рабочий класс – авангард трудящихся, взявший в семнадцатом году эту власть в руки, но передавший ее по глупости политрукам, рабочий класс – костяк ума, чести и совести нашей эпохи – устраивает в автобусе жеребьевку, кому бежать в ГУМ, а кому для галочки (формальная отметка) торчать в другой очереди – в Мавзолей.

Иногда мы тащили мундштуки от папирос «Прибой» из шапки, но чаще со смехом тараторили считалку: «В нашей маленькой компании кто-то сильно навонял. Раз, два, три, это, верно, ты...»

Везунчики с сидорами направляются после розыгрыша занимать очереди в кассы и в разные отделы, неудачники злобно идут на посещение какого-либо культурного объекта.

Между прочим, был у нас на заводе токарь Столешкин Юрий Авдеич. Лет пять совершал он с нами набеги на торговые точки Москвы и буквально ни разу, я подчеркиваю, ни разу не выпадал ему жребий идти в магазин. Или вытаскивал Столешкин пустой мундштук, или оказывалось, что он в числе других «навонял в нашей маленькой компании». Я уже пробовал, сердечно однажды пожалев Столешкина, предложить ему поменяться и пойти вместо него культурно отрабатывать колбасу, масло и макаронны, но он твердо ответил, что всю жизнь стоит за справедливость и будет до конца соответствовать любому своему жребию. Мы уж, смущенные непротором такой невезухи Столешкина, пробовали мухлевать со жребиями, подсовывали ему счастливый, перебивали считалку, но жутким каким-то образом, к нашему ужасу и удивлению, Столешкин снова оказывался среди неудачников. С вызывающим душевную боль выражением лица Столешкин покорно выходил из автобуса и, чуть сгорбившись, торопливо, как от очередного пинка судьбы под зад, шел на Красную площадь. О чем уж он думал, следуя мимо «самого живого изо всех прошедших по земле людей», с какими словами к нему обращался, нес ли к нему обиды и вопли о царящей вокруг лжи и несправедливости, или, тупо уткнувшись глазами в чей-то затылок, выплывал в странном людском потоке на поверхность реальной жизни земли, останется неизвестным. Столешкину не раз предлагали не ездить в Москву за жратвой, обещая выполнить все его заказы, однако он отмахивался от товарищеских предложений из упрямства, страсть которого, по-моему, ему самому была непонятна, но от которой не было Столешкину в жизни покоя. Он и лицом как-то постепенно подменялся и на побитую собаку становился похожим, но не запивал, как некоторые на заводе, не бурчал, только однажды беззлобно сказал, неизвестно к кому обращаясь: «Неужто нельзя человеку прожить без бесконечного унижения?»

Семья у Столешкина была огромная. Пятеро детей. Зарабатывал он не меньше других и к тому же глиняных кошек и собак, собственноручно раскрашенных, таскал по субботам на рынок, где его баба ими подторговывала.

Я так подробно о нем вспоминаю, потому что начали мы все из-за его невезухи мучительно и неловко чувствовать себя в поездках за жратвой, в которых действительно было что-то унижительное, и унижительность эту к тому же заостряли навязшие в зубах придорожные призывы: «Больше молока и мяса Родине!», «Выполним и перевыполним планы партии, планы народа!», «Животноводству – зеленую улицу!», «Партия торжественно обещает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!», «Народ и партия едины!», «В ответ на заботу партии о благосостоянии народа – ударный труд!», «Мы живем в первой фазе коммунистической формации! Л. И. Брежнев».

Но лучше ни о чем по дороге в Москву не думать, чтобы не осквернять и без того скверное настроение и не вспоминать старые времена, когда брал ты вечером кошелку, шел в магазин, набирал того-сего и радовался, что миновала всех военная голодуха, что хоть и не особенно жирно, но достойно и уверенно существовать. Вы бы спросили, дорогие, у своих американских коммунистов: как они представляют себе будущее своей страны? Или они все слепые, как их руководитель, которого нам показывали по телевизору?

В общем, вскоре после заданного пустому пространству вопроса насчет возможности прожить без бесконечного унижения Столешкин повесился. Записку оставил непонятную: «Все вы знаете, почему не могу жить. Прощайте».

Опять пришлось мне отвлечься. Но уж я доскажу, как мы делали голодные набеги на матушку-Москву. Непростое это дело, даже при наличии продовольствия в магазине №1 нашей Родины, в ГУМе. Я ведь отовариваюсь не только сам для своей семьи, но у меня имеется неременная сочувственная нагрузка набрать продовольственных товаров еще для нескольких семей. В основном мясо, яйца, масло, макаронны, треску, если повезет и ее выбросят

(продадут), и колбасу «Одесскую», которая три месяца в холодильнике лежит и не портится. Говорят, за ее изобретение академик Несмеянов получил орден Ленина и премию. В общем, набрать надо пуда три, не меньше. А так как за один раз в одни руки больше двух кэгэ мяса с некоторых пор не отпускают и на прочие продукты нормы ввели, то приходится занимать пять-шесть, а то и больше очередей, метаться до седьмого пота от касс к прилавкам и строить к тому же разные рожи, то снимая, то надевая очки, чтобы тебя не узнал продавец и не завопил на весь гастроном: «Спекулянт! Сейчас милицию позову!»

Разве не прав был Столешкин? Разве это не бесконечное унижение? Но здоровье семьи, детей, соседей или товарищей по цеху дороже самолюбия.

Насрать мне на него, если хотите, в таких случаях. Строить рожи, поднимать воротник и надевать очки – легкая придумка. Бабы наши стали парики надевать и менять их тут же – рыжий на черный, шатеновый на седой и так далее. А Брежнев Иван, однофамилец Леонида Ильича, стал таскать из народного театра усы накладные и бородки, которыми в нашей заводской самодеятельности народных артистов загримировывали под Ленина. Пока набегашься, пока наберешь пуда три жратвы – сердце начинает бухтеть и подкашиваются ноги. Уже с трудом под конец соображаешь, сколько надо платить, лаешься с прохиндейками кассиршами, которые только и смотрят, сволочи, как бы охмурить «пиджака» (провинциала) вроде меня. Часа через три возвращаются из музеев, Мавзолея и выставок остальные. Они сторожат набитые в сторонке авоськи, а мы бегаем по ГУМу, высматриваем кое-что из тряпок и обуви. Москвичи – особенно хреново живущие люди – ненавидят нас, как волков. В очереди прямо в глаза, не стесняясь, говорят, что из-за нас в Москве все пропадать начало к чертовой матери, что живоглоты мы и спекулянты, сами набираем здесь мяса, масла, а у себя дома разводим коров и свиней и возим на рынок продавать по шесть-семь рублей килограмм. Основная проблема при этом не ввязаться в шумный скандал и, не дай бог, в драку, что однажды случилось. Нарымов Жора не выдержал, врезал в печень одному горлодеру с красными от злобы глазами, потом второму – и бежать. Чеки успел в руку мне сунуть. Пока эти два столичных мужичка кряхтели, скрючившись, мы отоварились, сделав вид, что не знакомы со сбежавшим хулиганом. Больше Нарымова на экскурсии уже не брали.

Но вот наконец все, что надо было, закуплено! Закуплено и уложено в наши многострадальные сидоры. Бухгалтерией будем заниматься в пути. На дорожку взят портвешок (красная дрянь) и закусочка приготовлена. Теперь задача – погрузиться с сидорами в автобус. Плестись нагруженными верблюдами по Манежу опасно. Было время, когда милиция интересовалась путевым листом нашего шофера и целью общей поездки в Москву. Власти пытались бороться с крестовыми походами на столицу и зверствовали, как всегда в таких случаях.

Поэтому автобус обычно отъезжал в один из переулков на улице Герцена, за консерваторию. Мы грузились на глазах у враждебно наблюдавших за нами москвичей и – аля-улю, здравствуй, моя столица, здравствуй, Москва! «Москва моя, ты самая лю-би-ма-я!» – пели мы, проносясь по улицам к окружной дороге.

Думаете, на этом кончалось путешествие? Как бы не так! А посты ГАИ? Эти же краснорожие гаишники (полиция) только и ждут, чтобы остановить автобус, заглянуть внутрь и порыскать воровскими зенками, чего бы урвать у работяг.

Без пары бутылок портвейна час-полтора простоишь, пока они составляют протокол об «использовании экскурсионного автобуса для перевозки продуктов в количестве, превышающем естественные нужды одного человека, с целью дальнейшей спекуляции». Ну а если подкинешь в ихнюю прорву (пасть) портвешка и закуски, то пожалуйста – кандежайте дальше, дорогие товарищи. Как? Не волк у нас человек человеку? Никто, поверьте, лучше меня не умел заговаривать зубы милиции, оттягивать (ставить на место) нахалюг кассирш, дипломатично объяснять рычащим на провинцию москвичам, что мы не барышники, что просто в магазинах наших на прилавках хуй (член) ночевал и поэтому мы тратим выходные дни на снабжение

семей продуктами. Кроме того, я за несколько лет заимел знакомство с продавцами, бывало, платил им аккордно по сто-двести рублей в обход кассы, и они быстренько рубали нам мяса килограммов сто, причем без очереди, и всем было приятно. Вот за эти отличные интендантские способности меня непременно брали в Москву даже тогда, когда мне самому поездка была ни к чему, и я вынужден был ради товарищества отрывать себя от рыбалки.

Понятно?

Я остановился на том, как мы с Верой прикинули меню, и я решил обратиться ради такого случая к нашему родственнику, прохиндею Яше. Позвонил ему, готовь, говорю, сто пятьдесят заказов для наших работяг. Всего чтобы было понемногу и всем поровну. С каждого заказа по 5 рублей тебе заплачу. А мне на этот раз собери, говорю, отдельно заказик, чтобы я человек пятьдесят-шестьдесят мог скромно, но не по-жлобски угостить. Водки не надо, потому что у меня имеется двадцать литров чистого, как моя, а не твоя, Яша, совесть, самогона. И настоян он на малине, клубнике, смородине и зверобое с мятой. Два ящика «Боржоми» сообрази, чтобы народ изжогой не страдал от современной советской колбасы. Ты понял меня, спрашиваю, Яша? Яша все прекрасно понял, ибо боялся меня как огня, но от души уважал за прямоту и неглупые советы. Иду после этого в культотдел профкома. Заказывают автобус, и едем мы в Москву, в Яшин хитрый магазинчик неподалеку от Кутузовского проспекта. Проезжаем мимо дома, в котором Брежнев, говорят, живет. В окна его заглядываем, может, думаем, высунется сам поинтересоваться погодой и жизнью уличных людей. Где уж там! Ни разу не высунулся. Теперь слушайте, что было дальше. Приезжаем к Яше. Большую часть людей я посадил перед этим у Музея Вооруженных Сил. Заказы уже упакованы в ящики из-под конфет. Счет на каждом. Рассчитываюсь с Яшей и выслушиваю его жалобы на то, что снабжение в Москве с каждым днем становится все хуже и хуже. То этого нет на базе, то того, а что дальше будет, вообще непонятно. Затем мы с ним в его кабинете немного выпиваем, пока ребята грузятся. Выпиваем, и мне совершенно неизвестно, что за сцена разворачивается в этот момент перед нашим продуктовым автобусом. Яша толкует о знакомых евреях, уехавших кто куда, об аресте каких-то дельцов из фирмы «Океан», вздыхает, уверяет, что дышать все трудней и трудней, воз, скоро вообще перекроют кислород молодцы из КГБ, что дочь Элли ему не удалось даже за десять тысяч устроить в Иняз из-за пятого пункта и что он просит у меня совета: ехать ему или не ехать? Я говорю, а кем ты там будешь работать? Ты же печенье даже не умеешь перебирать, но воровать за границей тебе не позволят. Там нету социалистической собственности, которую уже шестьдесят лет разворовывают артисты вроде тебя. Там работать надо и иметь специальность. Ничего, отвечает Яша, переправлю ценности как-нибудь, в долю войду к приятелям в небольшое дело или в Штатах, или в Израиле. Элла будет учиться, Славик – работать, не пропадем. Ехать или не ехать? Хочу, говорит, последние лет двадцать прожить честно. Надоело химичить. Тошнит. И деньги девать некуда.

Хоть жги их. Айвазяна к тому же на днях взяли и к Прошину подбираются... Это директора баз, которые снабжают Яшу левыми (ворованными) продуктами.

Не знаю, говорю, Яша, ехать тебе или не ехать, потому что это личное дело каждого, а во вторых, не желаю я ни Штатам, ни Израилу таких граждан, как ты, не обижайся, но не желаю. Конечно, соглашается Яша, я говно и жулик, но хоть дети там будут лучше меня, хоть они сойдут с этой отвратной дорожки советской торговой сети. Из-за них надо ехать и из-за их внуков. Что скажешь, Давид?

Таких дел в кабинете за пять минут не решают, отвечаю, смотри не подсядь на последние годы жизни в каталажку, а если тебе денег девать некуда, брось к ебене бабушке свое воровское дело. Тут Яша внезапно ссутулился и приуныл. На этой работе, говорит, не воровать нельзя. Система такая. Сверху донизу повязаны все мы одной веревочкой. Конец ее от баз и продавцов тянется к нам, директорам, а от нас в райпищеторги, в горотдел, в министерство и дальше. А кто берет на самом верху, говорит Яша, не знаю.

Однако берут. Вон, председателя Палаты Национальностей Верховного Совета СССР Насриддинову арестовали и камней (алмазов) при обыске кучу нашли. Она такими делами ворочала, что я какашка по сравнению с нею. Она и от расстрелов за лимон (миллион новыми) убийц спасала, и аферы всесоюзного масштаба покрывала – и все под носом у ленинского ЦК. Что о крупных шишках говорить и об их детишках, разъезжающих на «Мерседесах» и скупающих бриллианты! Если я лично каждый месяц посылаю начальнику моего районного ОБХСС штуку (тысячу) в конверте, ты можешь представить, Давид, сколько в свою очередь посылает сам он выше. А ведь у него в районе не один десяток магазинов и прочих торговых точек, не считая баз. Но ведь я не только в ОБХСС посылаю. Трудно соскочить, Давид, просто так с моей работы. Это тебе не завод, где делают железки, которыми сыт не будешь.

Каждый, отвечаю, на своей карусели крутится, будь здоров, Яша, пойду, а то у меня сердце предчувствует недоброе что-то. Как бы по дороге в аварию не попасть.

И не обмануло меня тогда сердце, не обмануло. Подвожу на тележке свой заказ и пару ящиков «Боржом» к автобусу. Еще издали понимаю: что-то произошло. Нельзя заводских ни на минуту оставить одних в проклятых каменных джунглях столицы. Сгрудились они вокруг кого-то, базарят нервными голосами и размахивают рабочими руками. Слов разобрать не могу. Мне бы вернуться с моей нагруженной доверху тележкой обратно в магазин, но я как назло забылся, ибо беспокоился в тот момент не о себе, и подъехал к уличному шуму.

Расступились ребята – мужики и бабы, – и с кем бы, вы думали, остался я с глазу на глаз? С Жоржиком, то есть с Георгием Матвеевичем Малопятовым, с бывшим секретарем парткома, посадившим Федю, затем с бывшим первым секретарем нашего обкома, не раз приезжавшим на завод базлать: «Давай! Давай!» Я его знал как облупленного. Вот уж года три, как Жоржик жил в Москве и работал важной птицей в ЦК. Поздно было сматывать удочки. Уставил Жоржик на меня свои мутно-голубые незлобные на первый взгляд фары и освещает с ног до головы.

– Здравствуй, – говорит, – Ланге. Это ты руководитель «делегации»?

Голос у Жоржика негромкий был и тоже, на первое впечатление, как бы приветливый.

– Да, – отвечаю, – я руковожу, но для начала поздороваемся.

Здравствуйте. – Протянул я руку и сжал пухлую лапку Жоржика так, что челюсть у него вбок пошла от боли.

– Ну, чем вы тут занимаетесь, Ланге?

– Да вот, – говорю, – жратвы, как видите, приехали набрать. Я для проводов. На пенсию ухожу. А ребята – для детей, стариков и укрепления рабочей силы.

– Так, так. Для укрепления рабочей силы, – повторил Жоржик. – А у вас в магазинах продукты менее свежие или ассортимент ихний вас не устраивает? Вы гоняете в Москву технику, изводите бензин – и все это под маркой экскурсии по ленинским памятным местам. Думаете, до партии не доходят сигналы?

– Это хорошо, – отвечаю, решив не горбиться раз в жизни и все взять на себя. – Хорошо, что доходят до партии сигналы. Только чьи сигналы до вас доходят?

– Сигналы москвичей. Вы буквально терроризируете торговую сеть Москвы.

Посмотрите на себя со стороны. Мешочники двадцатых годов. Я сам их прекрасно помню. Неужели в наше время у вас у всех – я и коммунистов здесь вижу – одно желание: нахапать продуктов с водкой, вместо того чтобы провести выходной день с семьей? Неужели задача у вас залить глаза и набить брюхо? Вы только посмотрите на себя со стороны глазами москвичей!

Жоржик еще что-то говорил. Я не слушал его. Я думал, что как был он слепым и упрямым козлом, так и остался, хотя козлиным же тупым и упрямым напором и дубовым лбом сокрушал, бывало, все ворота на своем пути – и вот в ЦК партии оказался.

Вдруг я взглянул, по совету Жоржика, на всех нас со стороны и, взглянув, увидел картину странную, сообщившую моему сердцу отчаянное возмущение и непонятную неумную

веселость. Крепкий пузатенький человек в ондатровой, несмотря на теплую погоду, шапке и в темно-коричневой дубленке, с поводком в руке, на котором бесчувственно болталась молчаливая маленькая псинка, стоял окруженный вспотевшими от смущения и страха бывшими крепостными своей губернии, и порол страшную хуйню (чушь) о советском народе, впервые в истории человечества создающем материальную базу коммунизма, о его авангарде – рабочем классе, обязанном давать пример остальной публике высокой сознательностью и готовностью к любым жертвам, объективно обусловленным данным историческим моментом. Но что же получается?

Он, Жоржик, вышел погулять с Пусенькой, чтобы лично войти в контакт с советской действительностью и порадоваться благополучному течению мелкой бытовой жизни. И что же он видит неподалеку от важнейшей политической артерии Москвы – Кутузовского проспекта? Автобус с номером области, которой он отдал полтора десятка лет жизни, чье промышленное и сельскохозяйственное развитие было смыслом его существования, которая награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, которую с трибуны не раз хвалил Леонид Ильич, которая, казалось, никогда не заставит его краснеть, которая... которой... которую... и к автобусу которой с лицами, искаженными нездоровым аппетитом, волокут кошелки рабочие всемирно известного завода, орденосцы, бригадиры бригад коммунистического труда, рационализаторы, инженеры, техники. Судя по нашим лицам, мы питаемся нормально, судя по трудовым показателям, силы у нас еще есть, так почему мы даем пищу злопыхателям и нарушаем ритмичность работы московской торговой сети? Или мы превратились в мещан и дальше своего корыта ничего не видим?

Так вот, мне его речуга надоела. Из-за отчаянного возмущения и неуместной, непонятной веселости я взял Жоржика под руку и говорю:

– Отойдем, Георгий Матвейч, побеседуем в сторонке, а еще лучше залезем в автобус, и я тебе, бывшему нашему первому секретарю обкома, выскажу пару пролетарских слов в ответ на твое недоумение и обиду за наше поведение. Отойдем.

Подталкиваю его почти силком к автобусной дверце, пока он медленно реагировал на непривычное для себя обращение и на то, что перебито в самом интересном месте взволнованное выступление перед народом. Сели мы в кресла потертые.

– Знаете, – спрашиваю первым делом, – почему мясо у нас на рынке, если колхозники его подвозят по воскресным дням и перед праздничками? По семь-восемь рублей килограмм, и легче Зимний дворец, как говорили мы, было взять, чем прорваться сквозь толпу горожан к мяснику. Знаете, – говорю, – что вместо масла, колбасы, творога, сметаны, трески и сыра в магазинах один перец, фаршированный овощами, рыбная солянка, «Завтрак туриста» с рыбной крошкой и перловкой, заквашенной тусклым томатом, соленая скумбрия, паста «Океан» из планктона, концентрат кисельный, и если бы мы, как шалавые волки, не набегали на Москву, то опухли бы уже от авитаминоза и детей превратили бы в форменных рахитиков, которыми они, кстати, постепенно становятся. Так что же ты, – говорю, – думаешь, что мы манну партийную должны, словно птенцы, из твоего клюва выклевать и тем быть сыты? Так, что ли? Может, нам сталь, чугун, прокат, уголь и нефть следует жрать, закусывая продукцией нашего завода? Сам-то ты ходишь, Георгий Матвейч, в магазин?

– Был на днях, – отвечает, все еще не освоившись с непривычным для себя разговором, возвращающим его к давно забытой и похеренной реальной жизни, Георгий Матвейч.

– Ну и чего ты там взял, скажи, положив руку на сердце?

– Немного, всего понемножку, – замылся крокодил и залупнулся, почуввав близость подвоха с моей стороны. – При чем здесь вопросы моего питания?

– Так чего все-таки «всего понемножку»? Балычка, охотничьих сосисок, пяток отбивных, нежных эскалопов для Пусеньки, вологодского маслица, клубнички и помидор? – продолжаю не отставать от надувшегося и пошедшего пятнами бывшего своего губернатора.

– Провокационно ты, Ланге, со мной разговариваешь. Провокационно, с чужого голоса. Распустили вас без меня. Распустили. Позвоню в обком, чтобы дали указание строжайше запретить эти популярные рейды и наказать кого следует. Скажите спасибо, что сейчас иные времена. Лет тридцать назад вы на этом же автобусе проследовали бы знаете куда?

– Знаю, – говорю. И добавляю: – Нас сейчас никто не слышит. Нет у нас свидетелей, хотя я мог бы обдригать тебя перед всем народом. Но я скажу тебе с глаза на глаз: в психушки надо запрятывать не мальчишек и девчонок – правдолюбов, не старых генералов и всех тех, кто задумывается вслух о несурязицах советской нашей жизни, а таких, как ты. Ты же натуральный крот, – говорю, – вылез из-под земли откуда-то, увидел не полупьяных, а полуголодных земляков и удивился, зажмурился, чего это они, сволочи, вместо того чтобы на агитпунктах к выборам народных судей готовиться, рыскают по московским магазинам. Так вот, от своего имени и от имени своих товарищей, хоть они меня не уполномочивали на это, заявляю тебе, что продолжать дальнейший разговор с тобой считаю ниже нашего рабочего достоинства. Если бы еще деятели вроде тебя заявили нам открыто и прямо: дорогие товарищи, братья и сестры! В этот очередной неурожайный для нашей Родины год, когда мы вынуждены униженно обратиться к заклятому врагу, к Америке, продать нам пшеницу, призываем вас, соотечественники, затянуть ремни потуже и походить подтянутыми еще год-другой, не переставая рваться в космос, а там и до коммунизма будет рукой подать. Не забывайте, братья и сестры, что на ваших интернациональных шеях впервые в истории сидят народы Кубы и Африки, Европы и Индокитая. Мы уже победоносно дошли, а им еще шагать и шагать под дулами и плевками мировой реакции к развитому социализму, иными словами, к недоразвитому коммунизму. Проявите сознательность, братья и сестры, как в военные годы, когда в нечеловечески трудных условиях вы вынесли горе и беду, но спасли мир от фашизма. Руки прочь от гастрономов и рынков Москвы! Наше гневное «нет!» обществу потребления!! Миру – мир! Если бы, – говорю, – нам было откровенно заявлено о трудностях, то мы в силу одной только единственной народной многолетней привычки ни черта не понимать в происходящем и в головоломных целях политических руководителей заплодировали бы и, отчуждаясь от интересов своего пуза, ответили бы: обойдемся, выдержим, валяйте, меняйте соотношение сил на мировой арене, но чтобы это было наконец к лучшему. А сейчас, – говорю, – когда мне стало абсолютно ясно, что общество потребления мы строили не для себя, а для тебя, бледный крот, я тебя просто по-нашенски посылаю на хер. Вот если ты приедешь в наш засранный город и мы с тобой пройдемся по магазинам, поглядим на пьянствующую в овражках и закутках молодежь, побеседуем с матерями и проверим сводки о состоянии преступности, тогда поговорим по-другому, по-человечески, как два заинтересованных в довольстве и достоинстве родного общества гражданина.

– Да-а-а, Ланге, да-а-а, – буравя меня глазками, только и сказал Жоржик, но, вылезая из автобуса, гнусно, ибо нечем ему было крыть, подковырнул: – Какое это общество ты называешь родным?

– То, – отвечаю, – общество я считаю родным, в бедах которого и во лжи повинны не жидовские вроде моей рожи, как ты полагаешь, а кроты и крысы, то есть политруки, вроде тебя. Пошел на хер, поросенок! Поищи в душе стыд и совесть!

Тут Пусенька на меня визгливо залаяла, но замолкла, когда повисла в воздухе на поводке при выходе Жоржика из автобуса. Вот так, думаю, и меня бы ты вздернул, будь на то твоя сила и власть. Вздернул, но не отпустил, как свою Пусеньку, а ждал бы, когда вывалится из моего искаженного ненавистью и презрением к тебе рта синий прикушенный язык.

Плывать мне было в тот миг на последствия такого разговора, а Жоржик не спеша, не сказав рабочим ни слова и не оглянувшись, словно не было у него минуты назад чудовищного разговора с каким-то пархатым жидом – провокатором сионизма, поканал прочь от нас. Он жестоко то и дело дергал поводок, срывая, очевидно, бешеную ярость на Пусеньке. Вдруг он

остановился, как внезапно что-то вспомнивший человек, повернулся и дружелюбно поманил меня пальцем.

При этом он улыбался, как бы извиняясь за то, что чуть не ушел, забыв сообщить очень важную и приятную новость. Я не трогался с места, пока он, улыбнувшись еще приветливей, не пошел мне навстречу. Шагнул и я. Поравнялись мы. Жоржик приблизил ко мне белое, отекавшее слегка от вечной учрежденческой житухи лицо и сказал следующее:

– Поскольку мы говорили, Ланге, с глазу на глаз, не могу не сказать тебе вот чего: не верил я, когда там, у нас, – он дал понять взглядом, что наверху, – утверждали, доказывали, будто все вы так или иначе, рано или поздно становитесь подрывными врагами, бактериями недовольства и мелкопотребительских настроений. Возражал против мнения ряда товарищей, будто каждый волк, сколько его ни корми, в лес смотрит. Примеры приводил. Зампред Косыгина – Дымшиц, редактор Чаковский, хоть и лицо у него преотвратительнейшее. Кинорежиссер Чухрай, академик Митин, скульптор Кербель, лауреат Нобелевской премии Канторович. Композиторы Шаинский и Давид Тухманов. Скрипач Коган. Писатель-истребитель Генрих Гофман. Переводчики Расула Гамзатова Козловский и Гребнев. Футболист Гершкович. Политический обозреватель Зорин. Певец Кобзон. Драматург Самуил Алешин и многие другие евреи, не клонувшие на сионистские и сахарово-солженицынские удочки. Ты, Ланге, разубил меня. Я был не прав, возражая товарищам, и только навредил себе подобными возражениями. Спасибо тебе. Волки в лес смотрят. Но только лес этот, заверяю тебя, со временем будет нашим.

Я, наверное от нервишек, засмеялся и сделал Жоржику жест рукой: муде враскачку показал с отворотом. Вы, дорогие, не сможете понять такой выразительный жест, пока сами его не увидите.

Работягам же я раскинул черноту с темнотой (соврал), что разговор у нас состоялся с Жоржиком серьезный, что и он видит ненормальность положения, когда рабочие крупного промышленного города сосут ишачий член по девятой усиленной. Это выражение вам тоже будет непонятно.

Обещал, говорю, Жоржик провентилировать наверху продовольственную проблему, а также вопрос об алкоголизме и преступности среди молодежи.

Наливайте, братцы, чернил (портвейн), хрен с ними, с жоржиками и с ихними пусеньками. У нас своя жизнь. Выпьем за нее!

Выпили мы, и, стараясь не вспоминать свое поведение с бывшим хозяином нашей области, ибо не покидала надсадная тревога мое сердце, смотрел я и смотрел в окошко.

Мы проезжали места, где в сорок первом и сорок втором воевал я и Федор был моим командиром... Подлесок вымахал в стройный соснячок... Бывшая опушка густым ельником подступила к самой обочине... Не видать вон там, за белой стеной берез, низинки с лесною речушкой. Деревенька вымерла... Только надмогильная пирамида жива. Покосилась. Полу-стерты на ней и вымыты дождями и ветрами имена погибших товарищей. А если свернуть на большак, если проехать лесной дорогой, то увижу я тихую реку и крутой бережок, на котором оглоушили моего Федора немцы.

Рассказал я историю его пленения и освобождения ребятам, похлебывая портвешок, и поохотали мы все вволю, особенно в том месте, где бедный Франц обосрался от страха.

Правда, фигурировали в моей байке не я и Федор, не переводчик Козловский, чтоб он сгинул, если еще жив, а два друга Легашкин и Промокашкин... А там вон – ни пирамидки, ни могилки под ней не осталось.

Точно на ее месте столб торчит с лозунгом «Слава КПСС»... Не развеяло тогда веселое воспоминание тревоги моей души. Не развеяло. Сами по себе нет-нет да и возникали, хоть и отмахивался я от них, проклятые мысли о еврейской судьбе. Чего же всякие чиновные хари, словно сговорились они, взялись напоминать мне, что не дома у себя нахожусь я, а в гостях? Как будто не родился я здесь, не жил, не строил, не воевал, не отстраивал, не отдал времени

своей жизни труду, не помогая превратить вместе со всеми бесчеловечное это государство в то, чем оно сейчас является, – не для меня, не для друзей моих, трясущихся в продуктивно-экскурсионном автобусе, а для партийных придурков жоржиков – в систему снабжения советских руководителей, в ракетно-ядерный СССР. Как мне быть? В каких выражениях возражать? Как защитить свое достоинство и заработанное всю жизнь право на жилье, покой и нормальную смерть в кругу семьи?

Так я думал тогда в автобусе и, хоть горько мне было думать обо всем этом, вспоминал Федора. Вспоминал и запоздало соглашался с тем, что не раз говорил он мне, не раз внушал и раскрывал глаза на многое в советской жизни.

Но я отмахивался и в свою очередь внушал ему, что, конечно, вокруг ложь, бардак, насилие и бесправие, но разве есть у нас возсть пойти против ошестиненной и готовой к беспощадной защите своих привилегий махины? Разве есть? Метать в них гранаты? Извини, Федя. Я не убийца. Убийцей я уже побывал на войне. Хватит. Распространять листовки? Наши же приятели, даже не читая, тут же отволокут их в Чека. Писать письма, как Сахаров? Я не умею, а ты больше одного письма не напишешь и ответ на него получишь или в психушке, или в тюрьме. Кто-кто, а ты испытал на своей шкуре последствия безобидного, в общем, сопротивления и инакомыслия, сказав всего-навсего парторгу: «„Давай“ в Москве хуем подавился». Испытал? Испытал.

– Не знаю, что делать, – отвечал Федор, – но чую, что и жить так отвратительно и бессовестно.

– А может, – говорил я, – наоборот, именно в такие времена, если уж нет силенок сладить с черной силой и понимаешь, что протест твой одинокий безумен и самоубийствен, может, наоборот – именно в такие времена следует как раз считать целью именно честную, трудовую, радостную, несмотря на все лишения, жизнь и как-то стараться передавать из рук в руки, неприметно для политрукских глаз, словно угольки в доисторические времена, все то, что делает эту жизнь жизнью человеческой: веру, надежду, любовь, добро, солидарность рабочую, чувство справедливости, чистоту сердца, верность семье и страсть к лесу, к реке, к песне и веселью? Что ты на это ответишь, Федя?

– Не знаю, Давид, может, и прав ты, – говорил Федор. – Большинство людей так и живет, и, конечно, на них держится человеческая жизнь, а не на словесах райкомовского лектора, у которого башка набита газетной трухой, давно побывавшей в наших задницах. Может, ты и прав, Давид, но одного я боюсь, только одного во всей видимой мною лично вселенной. Знаешь, чего я боюсь больше смерти? Сейчас я скажу тебе: предсмертной муки сожаления, что холостым остался навек и не был пущен в божеское дело для раскрытия глаз толпы рабов заряд моего понимания лживости, звериной подлости, тупости и совершеннейшего цинизма тех, кто делал и делает из нас скотов. Жалок бугай, который полон сил, имел острейшие рога и лбину широкую и мощную, как нож бульдозера, плюс тушу многопудовую и, следовательно, имел возможность подохнуть с честью и сопротивиться, когда почувал неотвратимость угона на бойню имени Ленина. Мог оставить в лапах погонщиков стальное кольцо вместе с куском рваной губы и пролететь на своих четырех, хвост трубой, к зеленому лугу и расшвыривать до грома, достойного выстрела, и топтать пожелавших вновь его заполнить, но который вместо этого ступил, согнув хребтину и роняя слюну, на крутой мосток – попасть в кузов грузовика. Потом под смертельным электрокопьем, за секунду до гибели он пожалеет не о себе, а о погибшей возсти подохнуть свободным... Несчастнейший и жалкий, одним словом, бугай.

Вот чего я боюсь, Давид, вот что мучает меня и не дает покоя. Ведь если в человека вселяются бесы и он бесновато совершает черт знает что, не пошевелив даже пальцем, чтобы освободиться от наваждения и перестать, собственно, не быть самим собой, но тем более, раз уж не весь еще человеческий род стал бесноватым, должно существовать в душе спасительное повеление соответствовать тому, что, по высшему замыслу, есть Человек. В твоей воле

не соответствовать, ты себе хозяин, нет свободы распоряжаться собой больше, чем та, что тебе вручена от рождения, но не избыть до самого смертного твоего часа, до последней малой искорки от угасающего огня твоей жизни, этой муки сожаления. Ты взмолишься: дай, Господи, еще сутки, дай, и я небесполезно потрепыхаюсь, я уложусь всего в одни сутки, Господи! Но не будет тебе нового срока бытия для должного действия, не будет ни малейшей на неотвратимом пороге добавки времени. Потому что его когда-то было в преизбытке. Ты вполне мог как следует им распорядиться, если бы делал для этого все, что в твоих силах. А уж если бы и тогда не хватило тебе времени, то не твоя в том вина, живи и помирай спокойно. Человек не всесилен.

Продолжаем, Давид, жить, – сказал в конце того разговора Федор, – авось судьба не даст ни тебе, ни мне запропасть вхолостую.

Я, как сейчас помню, вспылал.

– Нехорошо, – говорю, – так думать, плохо. Трудно мне тебе объяснять почему, слов не хватает и умения рассуждать, но чувствую, что думать так во многом плохо. Ты жил, учился, любил, работал, воевал, восстанавливал разрушенное, мыкался, недоедал, болел, сидел ни за что ни про что на каторге, здоровье потерял, был бит, оплеван, унижен, обижен, оскорблен, втоптан в грязь, но выкарабкался из нее, восстал, выжил, жена тебя предала, харкал ты кровью в ссылке, и при всем при том любо-дорого смотреть на тебя, Федор: такой ты настоящий, без крупиночки подлянки на совести, мужик! Ты все мучаешься, что для людей ничего не сделал, но откуда ты знаешь, что Бог не приметил тебя с ворохом твоих обид, страданий, болячек и хворей? Наверняка приметил, и ты, несомненно, порадовал Его тем, как совершаешь свою жизнь, за что и послана тебе свыше сила жить, без которой ты давно бы уже свернулся в пороссячий хвостик от десяти процентов всего тобой пережитого.

Помню, в тот раз Федор весело позавидовал моему происхождению.

– Хотел бы я, – говорит, – побывать в твоей, выдубленной двадцатью веками рассеянья еврейской шкуре. Очень бы хотел! Может, я тогда не торопился бы, не мучился, а старался жить, по возможности, праведно и ждать.

Ведь дождались вы в конце концов! Вот что удивительно и прекрасно! Только ты этого, старый козел, не чувствуешь и не понимаешь. Страна у тебя есть своя!

Ты можешь там быть как дома, и ни одна свинья не скажет, что ты в гостях! А я рожден в своей от века стране, но не дают мне в ней ни жить по-человечески, ни хозяйствовать по-разумному, ни истинный смысл искать в единственном существовании. За какие такие грехи? Моя ли вина в том, что так низко прибиты за шестьдесят лет советской власти души людей, бестрепетно глядевших на бесовский разгул начальничков-уркаганов и даже пальцем не пошевеливших, когда дзержинские, ягодные, ежовские, бериевские и прочие кровавые ветры отрывали мужей от жен, детей от матерей, отрывали безжалостно, освящая безжалостность холодными положениями ленинско-сталинского учения и затягивая миллионы невинных жертв в смрадную трясиину неволи и смерти? За что такое наказание моей России, кажущееся временами слишком несоразмерным видимым ее грехам? Может, за то, что миллионы позволили увлечь себя сотне фанатиков, поддавшихся дьявольскому соблазну жить не ради праведной и радостной жизни, а ради привлекательной на первый взгляд идеи, и, позволив, сами способствовали разрушению того, что кропотливо выстраивалось и в душе, и на земле долгими трудными веками?

– Будет, Федя, будет, – только и мог я тогда сказать с заболевшей душой другу.

Выводил он меня, надо признаться, своими разговорами из колеи, и не сразу я отвлекся от них. Рычал на семью, допекал до белого каления руганью в адрес большевиков свою идейную дочь Свету, надирался с полочки, блудил, бывало, с дамами из заводоуправления и не успокаивался, пока не выбирались мы с Федором на рыбалку. Там все во мне снова приходило в порядок: голова не чувствовала себя задницей, мочевой пузырь не думал, что он главней

сердца и печени, косточки уютно чувствовали себя на своих законных местах, глаза видели, уши слышали, и было опьянеть от счастья жить вдали от радиотрескотни и телетошниловки.

Вот так я думал и вспоминал кое-что, сидя у окна в автобусе. Отвлекался от тревожных мыслей, представляя, как мой Вова и его славная жена уедут с детьми в неведомый Израиль. Пусть едут. Я рад был за него. Опасно, конечно, жить там: то бомбы рвутся в таких вот автобусах, когда люди возвращаются с базара, то детишек захватывают в школах, но что поделаешь? Они там живут как на вулкане, но Вова опять будет иметь возможность копаться в генах, читать открыто самиздат и не бояться, что только за это чтение вылететь с работы, а то и угодить в лагерь.

Но вам трудно себе представить, какая огромная страна Россия! Какая это огромная, красивая страна! Жуть и восторг вдруг потрясают всю душу, стоит только вспомнить на миг, что она действительно самое огромное государственное пространство на земле! Ведь пока трясешься в автобусе от Москвы до нашего города, целую Голландию проезжаешь, наверное, а то и пару Израилей! Пусть вокруг дождик моросит, провисли от него провода телеграфные, столбы отсырели, редко где увидишь скотину, мало жизни в придорожных деревнях, да и не деревни уже это, а стариковское доживание, пусто вокруг, пропадают почвы, возделывать если которые под хлеба и прокорм коровушек, то и не пришлось бы нам трястись в автобусе туда и обратно. Непосильной для понимания становится советская, ебаная в душу власть (извините за выражение), стоит только задуматься на секунду: а зачем она вообще существует? Зачем существует и держится все шестьдесят лет на поголовном страхе, на нашем терпении, на покорности и на обновляющихся ежегодно посулах? Зачем? Что это за напасть, которая ни накормить, ни напоить, ни воспитать, ни вылечить как следует, ни распорядиться достойно богатствами земли не может и к тому же приставучей заразой своей поражает несмышленные, неопытные, необжегшиеся на построении социализма народы? Зачем она? Как понять ее простому уму, как согласиться с ней неискушенному сердцу? Успеем ли раскусить ее до того, как ввергнет она и себя и нас в окончательную пропасть? Кто уцелеет на ее краю и, собрав остаток слабых сил, горько глянет в поглотившую бесноватое чудовище бездну?

Несколько дней я не брался за перо. Живу сейчас у Вовы в Москве (почему, поймете потом). Как назло расхворалась Вера, внуки в школе, приходится шевелить рогами (зарабатывать, халтурить), но в Москве прожить. Магазин под боком, есть в нем все необходимое, не то что в нашем универсаме, и рынок рядом. Он ужасно дорогой, но мы денег не копим, позволяем себе купить парного мяса, негнилых овощей, настоящего творожка, сметаны и человеческой картошки.

Опережать события не буду. Как рассказывал по порядку, так и продолжу.

Вполне воз, я прервал письмо по причине нервного характера. Вспоминать то, о чем вы сейчас услышите, нелегко. У меня стресс начинается, как уверяет Вова. Не знаю, стресс это или пресс, но в глазах у меня темнеет, сердце колотится почище, чем с перепоя, и сводит скулы слюна обиды и бешеной ненависти. «Суки. Вши. Падлы. Паскуды!» – шепчу я и жалею только об одном, жалею, что гнул спину действительно на совесть – почти полвека, – не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, болел за производство, вкалывал на субботниках, заражал настроением товарищей, воспитал целую гвардию замечательных станочников, рационализировал, но не пер на рожон и в партию, не гнался за «трудовой славой» – и что же я получил за все это? Харкотину в душу! Вот что! Впрочем, глупо и недостойно жалеть о том, что ты делал свое дело как следует. Оно было смыслом твоей жизни, поскольку ты получал от него удовлетворение. Наши паразиты-политруки и держатся на этой человеческой способности, свойственной особенно русским и иным советским людям, самозабвенно (политруки любят это слово) трудиться. Немного бы мы настроили и наработали, если бы самозабвенно задумывались о всесоюзном лживом бардаке, а не самозабвенно трудились. Скорей всего, сели бы, как индусы, поджав под себя ноги и полузакрыв глаза, и присидели бы в такой удобной позе все

пятилетки... Но ладно. Я, кажется, специально оттягиваю разговор о самом говенном случае в своей жизни. Но пусть он будет не очередной главой третьего письма, а совершенно отдельным письмом, продолжением которого стала моя нынешняя судьба.

Останавливается автобус около нашего крупноблочного пятиэтажного «хрущевика». Повторяю кое-кому приглашение навестить меня, выпить, закусить, поговорить и спеть «Синий платочек». Меня поблагодарили за помощь в смысле организации заказов и за приглашение.

Живем мы на третьем этаже. За один раз я не смог бы поднять свои свертки и минеральную воду. Взял я в руки сколько мог, остальное оставил на лавочке около подъезда. Поднимаюсь по лестнице, а сердце болит, словно зуб из него выдирают, такая странная ужасная боль. Стучу в свою дверь носком ботинка. Дверь открывается. Недоумеваю. Не в свой подъезд попал, что ли?

Прилизанный, гладкий такой хмырина стоит на пороге и, улыбаясь слегка, как бы приглашает входить и располагаться.

– Что за черт, – говорю и злюсь, что с тяжестью нужно снова спускаться и подниматься. Делаю уж было от ворот поворот, но хмырина шагнул на площадку, взял меня под руку и говорит:

– Вы уж и дома своего не узнаете, Давид Александрович. Заходите. Ждем вас уже часа два.

После этих слов второй хмырь вышел в переднюю, и из-за его плеча Вера на меня уставилась безумно испуганными глазами. Руки у меня опустились, когда вошел я в переднюю и первый хмырина, закрыв за мной дверь, сказал добродушно:

– Здравствуйте. Будем знакомиться. Игорь Никитич. Догадываетесь, из какого ведомства?

– Предъявите документы, – сказал я, мгновенно возненавидев это рыло, вторгнувшееся в мое жилище. Красная книжечка КГБ. было и не разглядывать.

– Что вам от нас нужно? – спросил я.

– Зачем же так недружелюбно, Давид Александрович? Стоит ли так противопоставлять себя и нас? Нам нужно провести обыск в вашей квартире. Вот – ордер на него.

– А что случилось? – спрашиваю глупо, даже не взглянув на казенную бумаженцию.

– Обыск, говоря официально, на предмет обнаружения у вас машинописных, печатных и прочих материалов, в которых содержатся клеветнические выпады в адрес советского строя.

– Ничего такого, – вздохнул я неприметно с облегчением, – у нас нет. Не держим.

– Дома не держите? – не меняя улыбки, уточнил первый хмырина.

– Не держим.

– А читать – читаете?

– Читаю, – говорю. – Скрывать не стану.

– Ну и как? Нравится?

– Интересно. А кое-что нравится очень.

– Например?

– Кузнецова книга про угон самолета.

– Про несостоявшийся угон. Еще что?

– «Семь дней творенья» – хорошая, правдивая, но тяжелая для души книга. Про собаку Руслана – тоже здорово. Жалко собаку.

– «Архипелаг» читали?

– Не успел, к сожалению.

– Кто же вас снабжает всей этой литературой, Давид Александрович? На правдивый ответ не надеюсь. Просто разбирает неслужбное любопытство.

– Еврей один снабжал. Он уехал в Израиль и на днях умер.

Такой разговор состоялся у нас в передней, пока я снимал пальто и туфли. А ответил я так, как, по Бовиным рассказам, отвечали его приятели.

– Иван Кирилыч, просите понятых, – сказал первый хмырь второму.

– Я у подъезда оставил продукты, – сказал я, – пойду заберу. Я на них целый день угробил.

– Гнойков! Проводи вниз Давида Александровича.

Из первой нашей комнаты выполз еще один таракан. Фамилия к нему вполне подходила. С ним мы и спустились по лестнице. Я быстро перебирал в своей башке возможные причины внезапного шмона (обыска). Федор? Бовины дела?

Стукнула-таки наконец дочь Света? В чем дело? Они же понимают, что слух про обыск на квартире замечательного карусельщика, почти полвека отмоловившего на заводе со дня его основания и заложившего в это основание полуобмороженными руками один из первых кирпичей, вмиг облетит весь город.

Судить меня не за что... Листовок я не разбрасывал. Солженицына ночами, как Вова, не перефотографировал, бастовать не призывал. В чем же дело?

И тут сотрясла меня догадка. Жоржик! Он! Только Жоржик мог, вернувшись домой, зеленый от хуев, которых я натолкал в его партийную душонку, может, впервые за всю Жоржикову жизнь, снял трубку и звякнул сюда, на квартиру своему дружку и ставленнику, генералу КГБ Карпову. Точно! Недаром скулило мое сердце. Ведь посмотрел Жоржик на меня напоследок так, словно я уже в тот момент глотал на его глазах жареные гвозди и серной кислотой запивал, мстительно, с предвосхищением всех моих будущих неприятностей посмотрел, хотя не раз, падаль отекшая, своими руками нацеплял мне на лацканы ордена и медали, не раз с трибун партконференций и митингов призывал равняться в труде на таких, как я.

Может показаться, что, сходя вниз, я долго обмозговывал случившееся.

Нет. Все это вместе с догадкой мгновенно промелькнуло в моей башке, еще до того, как я вышел из подъезда, взглянул на скамейку и не увидел ни свертков, ни минеральной воды «Боржомии». Да. Ничего этого не было. Мне трудно сейчас вспомнить и описать все, что я почувствовал. Не было в тот самый миг, когда, не веря своим глазам, я смотрел на пустую скамейку, в душе у меня ни жалостной тоски по пропавшему, ни бешеного возмущения. Только холодная пустота одиночества, удивление и гадливость, которую старалась перебить надежда, что кто-то из приятелей-соседей разыгрывает меня всего-навсего и сейчас выйдет из-за угла, весело осклабясь, – человек, радующийся дурацкой детской выходке. Никто из-за угла, однако, не вышел, и, как ни закалена была душа моя за всю жизнь ужасными катавасиями, лицемерием подлостей и предательств, потерями своими и чужими, своим и людским унижением, согнуло меня почему-то в тот миг происшедшее и просквозило меж ребер каким-то смрадным ужасом, как в детстве, как во сне, когда кажется, что вцепилось сзади в твои плечи склизкими когтями мерзкое, безобразное, огромное насекомое. И, согнувшись, брел я обратно по лестнице в бесконечной пустоте и непереносимом холоде одиночества и, зайдя в квартиру, молча, повинувшись одному спасительному порыву помиравшей от обиды души, обнял подошедшую ко мне Веру. Слава тебе, господи, обнял единственное родное и близкое существо, оказавшееся тогда рядом, и не знаю, как это объяснить, но, наверное, за счастье иметь всю жизнь такую верную и любящую жену, скорей всего за это, я простил в ожившей душе того, кто унес к себе домой со скамейки еду для моих друзей и несчастную минеральную воду.

– Темнил он. Не было там ни черта, – доложил Гнойков первому хмырине.

– Не надо темнить. С нами это, Давид Александрович, не пройдет. Начнем обыск, – сказал он.

– Валяйте, – ответил я, прошел в столовую и увидел двух понятых: учителя физкультуры с пятого этажа и своего соседа Ященко. Он жил в квартире рядом и настучал Кобенке о разговоре с Вовой и Федором насчет Израиля и советской власти. Я с ним ни разу не обмолвился

ни словом о происшедшем, потому что вообще лет десять назад перестал здороваться и разговаривать.

– Понятые вас устраивают? – спросил хмырина.

– Нет, не устраивают, – ответил я, хотя в принципе, мне было наплевать на состав понятых. – Категорически отказываюсь производить обыск и отвечать на вопросы, пока вот эта мразь будет находиться в моей квартире. И вообще, при нем я за свои действия не отвечаю. – Тут во мне заговорил бывший чума-разведчик, и я добавил, ловя хмырину на мушку, а заодно и проверяя свое предположение: – Немедленно позвоните Карпову о моей просьбе, а ты, Яценко, пошел вон в переднюю, пока будет решаться твоя судьба, гнида, как понятого.

Ну! – Я взял в руку подсвечник. – Пшел, говорю, вон!

Яценко, покраснев, уставился на хмырину. Вера заныла мне в ухо: «Тихо, Давид, тихо, не делай хуже». Хмырина взялся было за трубку, но передумал и сказал Яценке, что обойдутся без него. Учитель физкультуры ушел за своей женой Тасей – неплохой и веселой бабой.

– Вот теперь начинайте, – сказал я, когда Яценко, с ненавистью глядя на меня, выперся из квартиры. – Послушай через стенку, сволочь, что здесь происходит! – крикнул я ему вслед.

– Ну-с, начнем! – потирая красновато-желтые от вечной экземы руки, сказал Гнойков. Он явно любил это дело, в чем мне, к сожалению, пришлось убедиться. Его прямо распирало от желания, когда он искал глазенками, с чего бы начать. Мне даже показалось, что у него встал, извините за подробности, член, когда он чуть не влез с руками и ногами в гардероб с вещами и начал в нем рыться, сладко посапывая и чихая от поднятой пыли. Гнойков, вроде моего Вовы, был аллергиком. Вера, вытирая глаза, следила за его действиями. Я, учитель физкультуры и его жена Тася сидели на нашем диване, и, вы верите, эта зараза откровенно прижималась ко мне своим теплым бедром. Домашний халатик Таси был слегка распахнут на коленках. Загорелые красивые коленки, отметил я про себя и, кашлянув, ткнул Тасю в нежный мягкий бок локтем, чтобы бросила свои штучки. Нашла место, идиотина. Но она, словно машина, умеющая регулировать свою температуру, назло мне вспыхнула, и моя нога ощутила, как наливается еще большим теплом Таськино бедро, наливается для меня одного жаром и жжет, подлое, нестерпимо в такие отвратительные для моей судьбы минуты. Поистине не понять человеку жизни во всех ее меняющихся ежесекундно объемах, со всеми ее неожиданностями, возникающими смыслами и устрашающими разум несоответствиями, поистине не понять, и я, чтобы не думать об этом, отодвинулся подальше от Таськи.

– Зря теряете время, – сказал я, – ничего не найдете, зря руки перепачкаете в грязном белье и нафталином провоняете.

– Все так обычно говорят, – сказал первый хмырина, – а мы находим. Такое наше дело.

– Не вздумайте мне подкинуть чего-нибудь, – сказал я.

– Помолчи, Давид, болтун проклятый! – вскрикнула Вера.

Я думал, что обыск – это очень быстрая операция. Долго ли перевероршить наше нехитрое имущество? Но вот прошел час, а трое легавых продолжали терпеливо перелистывать книги и просматривать скопившиеся за много лет в старом портфеле справки, метрики, муру всякую, письма и документы. Этим занимался первый хмырина, второй приподнимал коврики на стене, вышивки Верины и фото в рамках. Очевидно, искал тайники, что меня смешило. Третий же, экземный Гнойков, то отодвигал от стен мебель и кровати, то, как шаман, замирал на месте, стараясь проникнуть в тайну нашего жилья и учуять самую главную заначку (тайник). Постояв, что называется, в трансе, он целенаправленно бросался то в переднюю, где перерыл обувь в ящике, то к стенным шкафам, а я наблюдал, с какой похотью он совершает свое грязное дело, как замасливаются его глазенки, как сладко он замирает, рукою нащупав в мыске моего валенка скомканную газету, и вытягивает ее, странно гримасничая и изгибаясь, того и гляди, прыснет в штаны от сладчайшего из возможных напряжений. Зато я радовался мстительно, когда, поняв, что в валенке нет никакой заначки и что просто он мне немного

велик, а комок «Правды», следовательно, не шпионская шифровка, Гнойков скрипел зубами и топтался на одном месте от внутренней опустошенности. Вид у него, клянусь вам, дорогие, был как у мужчины, промучившегося с дамой целый час и не поимевшего при этом конечного удовлетворения, к которому он так стремился, закатывая глаза и стараясь не думать о напрасных усилиях. На меня Гнойков смотрел пару раз буквально по-собачьи, как бы умоляя не мучить его больше, не растревлять и навести в конце концов на след статей Сахарова (благодаря Вове и Федору я читал их), книги Марченко об ужасах закрытой тюрьмы, «Технологии власти» Авторханова или «В круге первом», навести, чтобы Гнойков содрогнулся, взвизгнул, чтобы на мгновение ощутил он на своих плечах не покрытую экземными струпами головенку, а треск бенгальских огней, и после передышки снова бросился рыться в большом чемодане в надежде еще разок словить удовольствие.

Не думайте, что я все это время только и делал, что следил за ним. Нет.

Я наблюдал за первым хмыриной, слонялся из комнат в кухню под присмотром второго, буквально не спускавшего с меня глаз, пробовал поесть, но кусок не лез в горло, смотрел в окно, снова садился на диван, представляя Жоржика, звякнувшего в бешеной ярости Карпову, отвергал эту версию, придумывал десяток других, проклинал свою бездумность, из-за которой украдена была какой-то сволочью закуска, перекидывался взглядами с Верой, поговорил шепотом о том о сем с Таськой, так и норовившей в разговоре прижаться поближе и, между прочим, делавшей это бессознательно и исключительно по необходимости чувствовать хотя бы кончиками пухлых пальчиков лицо противоположного пола вроде меня.

– Советую вам сэкономить время. Сегодня выходной день, – сказал я шмонщикам. – Нет у меня подпольных книжек.

– У вас выходной, а у нас рабочий. Спешить некуда. Работа должна быть выполнена до конца, – ответил мне первый хмырина. К звонившему несколько раз телефону он категорически, между прочим, запретил подходить. А звонков, как назло, было больше, чем обычно. Я нервничал и страшно злился, представляя недоумение тех, кто звонил в уверенности, что я дома. Страшно злился. Кровь от злобы и гадливости прилиwała к голове, и Вера еще ныла, чтобы я немедленно взял себя в руки, иначе меня хватит удар. Ну уж нет! Такой радости я бы им не доставил!

Таськин муж между тем клевал носом, клевал, а потом устроился поудобней и задрях.

– Всю жизнь проспал, скотина, и свою и мою, – шепнула Таська.

– Устает, – сказал я.

– С чего устает? Девчонок на уроках попридерживает за бока и задницы, а на жену после них наплевать. Чистая скотина. Бей его сейчас штангой по голове – не проснется, – пожаловалась Таська.

Второй подсадил Гнойкова, и тот ерзал по полатам над нашими головами.

Вдруг я вспомнил всякую муру, прочитанную про работу угрозыска и контрразведчиков. Вспомнил, как на обысках подпольные миллионеры с потрохами выдавали себя взволнованно забегавшими по сторонам глазками, и шмонщикам оставалось только определить, что за сервант, половица, печная выюшка, фарфоровая собака или ножка стула, которые попали в поле зрения, заставили вздрогнуть и затрепетать обыскиваемого типа.

Гнойков и второй хмырь, ничего не обнаружив на полатах и в сортирном бачке, сами, казалось, предложили мне такую игру в надежде, что прием сработает и я расколюсь. Гнойков ходил при этом по квартире, проводя рукой, как миноискателем, по чемоданам, ящикам, коробкам, швейной машине, а второй хмырь незаметно вроде бы наблюдал за моей реакцией. Я с озорством на уме был невозмутим, но вот когда Гнойков остановился у старинного, изъеденного жучком, трухлявого прабабкиного буфета, я закрыл глаза, как бы от невыносимости приближающегося разоблачения, сглотнул слюну, попросил Веру преувеличенно бодрым голосом притаранить из кухни воды, поднес стакан дрожащей рукой к губам, глянул мельком

в сторону буфета, что-то сказал Гнойкову, стараясь «отвлечь» его любыми способами от тайника, ни с того ни с сего захохотал, демонстрируя полную развинченность нервов, не выдержавших дуэли со шмонщиками в самую критическую минуту, и тем самым бездарно себя выдавая на третьем часу обыска. Второй хмырь условно кашлянул пять раз и дважды сморкнулся. Гнойков, обласкав меня взглядом, снял пиджак, хотя при его похотливом взгляде уместней было бы снять брюки, потер в предвкушении чудного мгновения веснушчатые лапки, но не приступил тут же к большому шмону буфета, а, наоборот, проверяя правильность предположения, отошел в сторону.

Я, естественно, с огромным облегчением вздохнул, стараясь показаться шмонщикам неопытным, наивным и туповатым человеком. Они и взглянули на меня с откровенным сожалением и презрением, как я иногда смотрю на глупую рыбу, клюнувшую на туфтовую наживку.

– Пожалуйста, осторожней! – встряла моя Вера, когда Гнойков потрянул старый буфет, примериваясь, с чего начать. Первый хмырина продолжал в это время простукивать стену.

– Смотри, – шепнул я Таське. Таська повернулась, задев мое плечо грудью, и это ее внезапное движение, не укрывшееся от глаз Гнойкова, и возглас Веры, дрожавшей над проклятым и надоевшим мне трухлявым буфетом как над писаной торбой, сообщили шмонщикам окончательную уверенность, что тайник где-то в нем и я, следовательно... накрылся.

– Золото, бриллианты, валюту и монеты царской чеканки имеете? – спросил Гнойков.

Я ничего не ответил, якобы из-за бесконечной подавленности. Теперь мне важно было выдержать и не покатиться по полу от смеха, начавшего щекотать горло. Не буду описывать, дорогие, мое наслаждение и неподдельный ужас Веры, бегавшей около шмонщиков, разбиравших на части буфет, умоляя их быть поосторожней с вещью, «которой в том году было двести лет» и от которой я лет тридцать безуспешно пытался избавиться. Они разобрали буфет по косточкам, по досточкам, по полочкам, по ящичкам, по створкам, задничкам, ножкам, по резным набалдашникам, рамочкам, пузатеньким амурчикам, по розочкам и многочисленным дверцам. Все замки были вынуты из замочных пазов, все полые внутри стоячки продуты.

– Позвольте! Кто все это будет собирать обратно? – вскричал я, когда Гнойков заиграл желваками от разочарования, стараясь не смотреть в сторону второго хмырины. – Мы будем жаловаться Карпову! – добавил я. – Мне известно, что вы здесь по его распоряжению!

Я снова брал первого хмырину на удочку, забыв про буфет и очень желая подтверждения своей версии насчет Жоржика.

– Откуда вам это известно?

– Из разговора с Георгием Матвеевичем, – брякнул я. – Посоветуйте Карпову не вляпываться в эту историю. Я человек известный в городе и буду протестовать против произвола.

– Приказ есть приказ. Продолжайте, Гнойков, – сказал, подумав, первый хмырина и прошел в бывший кабинет Вовы.

– Ах, вот оно что! Прошу сюда понятых! – донесся сразу оттуда его голос. Мы с Верой переглянулись, догадавшись, в чем дело. Таська быстро скользнула в Вовину комнату, а ее физкультурник продолжал дрыхнуть.

– Ничего, – сказал я Вере, – не бойся. Никакого нет преступления в том, что я настоял на ягодах самогон для друзей. Не бойся. Главное – самого аппарата у нас нет. Сиди и молчи. Скоро это все кончится.

Гнойков и второй хмырь возились с задней крышкой телевизора. Голосов первого хмырины и Таськи что-то не было слышно в Вовиной комнате, но там явно происходила какая-то возня, шуршал шелк Таськиного халатика, щелкнул замок. Моя Вера смутилась и покачала головой. Скотина все-таки человек, страшная и непонятная скотина из скотин, дорогие. Не буду скрывать: не по себе мне стало от мысли, что первый хмырина там, за дверью, ошалев от неожиданного напора Таськи, размяк и, поддавшись на уговоры, воз, вот-вот приступит к нечаянно выпавшему на его служебную долю мужскому делу.

Таська наедине с мужиком своего не упустит. Такая жадная до мужиков и голодная баба не то что шмонщика молоденького, но и часового в мавзолее, исхитрясь, изнасилует. Не по себе мне стало, скотине. Ревновал я, в метре от своей жены находясь, а если говорить правду (надеюсь на ваше порядочное молчание), Таська обратилась ко мне однажды с просьбой вернуть лампочку в ее люстру. Я поднялся наверх, встал, сняв туфли, на стол, а Таська с ходу взяла меня в такой нежный и горячий оборот, что лампочка так и осталась неввернутой, а я, возвращаясь некоторое время спустя в свою квартиру, не без удовольствия вспоминал блаженную улыбку бешеной Таськи. Скотина я, скотина, но и Таська тоже, стерва, хороша. А если бы физкультурник проснулся, что было бы? Ну не странная ли, ответьте мне, штука жизнь? Очень странная, и, не подготовленные подчас к ее неожиданным странностям, мы безрассудно превращаемся в похотливых козлов. Вот и тогда мучила меня греховность моих непотребных чувств, но стоило только представить, что действительно произошло бы в квартире, если бы Таськин муж проснулся, разбуженный инстинктом сохранения невинности собственной жены, как грудь мою начал душить смех. Вот проклятый характер! Мне бы отогнать захватывающе смешные видения, но я представлял их себе, представлял, как физкультурник врывается в Вовин кабинет, рычит, разорвав на себе от горла до пупа футболку: «Ага-а!»

Срывает огромной, как у гориллы, ручищей первого хмырина с огнедышащей Таськи, держит его, словно беспомощного кутенка, другою рукой, пресекая упрямые попытки этого донжуана из КГБ натянуть на себя трусики и брюки, затем распахивает окно и обращается к собравшемуся на дворе честному народу (кто из них стибрил мои продукты?):

– Вот, граждане, до чего мы дошли на шестьдесят втором году советской власти! Обыска не можем провести без того, чтобы не натянуть на халабалу поняту! Смотрите!

(Халабала, дорогие, это, как вы понимаете, член.) Я согнулся, застонав, ибо не мог продохнуть ни глотка воздуха от удушливого приступа смеха. Вера, думая, что человека хватил кондрашка, взвыла на весь дом: «Ва-а-а!» – насмешив меня своей родственной истошностью еще больше. Физкультурник дернулся, вскочил с дивана, запрыгал вокруг меня, бормоча: «Дядьдавид... дядьдавид... дядьдавид», а дядя Давид и впрямь загибался, будучи некоторое время не в состоянии разрешиться спасительным смехом. Но я слышал, прекрасно слышал, как Гнойков сказал напарнику: «Косит, гадина! Чернуху разводит!» И я видел, как из Вовинового кабинета бочком, бочком, временно не имея возсти выпрямиться из-за особенности мужского устройства, выходит первый хмырина, и лицо у него багровое, растерянное до полной глупости, рубашка торчит из-за пояса, полноса в губной жемчужно-розовой Таськиной помаде. Я, согнутый, как от удара в печень, присел на диван и охал, унимая хохот, но ли было с ним справиться, когда следом за первым хмыриной из комнаты вышла Таська, и вид у нее был такой серьезный и задумчивый, словно за пару минут перед тем она пыталась не мужика при исполнении служебных обязанностей на себя бросить, а читала «Анну Каренину».

– Ну что, Давид Александрович, перестанете с ума сходить или вызвать «Скорую»? – мстительно спросил первый хмырина, которого, как вы, очевидно, заметили, я принципиально и из брезгливости не называю нигде по имени и отчеству. После этого вопроса с меня смех как рукой сняло.

– Смешного в вашем положении ничего нет, между прочим, вы ко всему еще и самогонварением занимаетесь! Вы знаете, что за это судят?

– Судят за приготовление, а не за распитие, – сказал я, и тут с хмырины вмиг слетели выдержка и вежливость.

– Мы будем судить вас за варение самогона с целью дальнейшего использования. Я передам дело в милицию!

– Передавайте. Только не надо мне грозить. Я пуганный. Делайте свое дело. Квартиру толком обыскать не можете. Если ваши специалисты не соберут буфет обратно, я буду жаловаться

в Организацию Объединенных Наций. – Я так и сказал для большего шухера и чтобы поразить этих незваных ищеек. – Карпов вас по головке не погладит.

– Молчи, идиёт, молчи, мое вечное горе, – зашипела Вера, и я пошел в сортир. Мне ужасно захотелось побыть в одиночестве. А телефон все звонил и звонил, пока кто-то не накрыл его ковриком. Тогда он стал звонить совсем глухо и не так трепал взвинченные нервы. В сортире я достал из старой заначки в стенном шкафчике махорку, газетку и спички. Свернул с аппетитом самокрутку и закурил, хотя бросил курить года три назад и не сделал с тех пор ни одной затяжки.

Я курил и прислушивался к своему сердцу: прошла в нем стонущая от дурных предчувствий боль или нет, кончается наконец-то что их вызывало или, наоборот, катавасии моей жизни только начинаются? Не очень что-то интересовало меня в тот момент, что же будет дальше. Я прислушивался к шагам шмонщиков, к их голосам и понимал по дурацким репликам, что дела их хреновы: не знают они, ничего не обнаружив при шмоне, как быть дальше со мною.

Впрочем, я и сам не знал, как мне быть. Федора бы сюда, думал я, он бы подсказал, у него бы не заржавело!

– Ну что ты, Давид, засел там? – зло спросила меня Таська, дернув дверь сортира. – Повесился, что ли?

– Да, – отвечаю, – повесился. Сама знаешь отчего.

Я пропустил туда Таську вместо себя.

– Козел старый, – прошипела моя бедная соседка.

– Ланге, – сказал первый хмырина, когда я вошел в большую нашу комнату, – советую вам сразу же указать местонахождение самогонного аппарата и тем самым облегчить свое положение.

– Только не надо, – сказал я, – меня парить. Я пареный и к тому же бывалый разведчик. Пойдем дальше. Обыск кончен?

– Обыск кончен, но дело продолжается, – ответил хмырина.

– Какое дело? Конкретней! – сказал я.

– Он ни в каких делах не замешан, дорогой товарищ кагэбэ, – вмешалась Вера. – Он рабочий. Его весь город знает. Вы сами нашли в шкафу все его ордена.

– Однако ваш муж регулярно организует с провокационными целями группы рабочих, инженеров, техников и членов их семей для поездок в Москву под маской экскурсий. Думаете, это не стало известно где следует? Думаете, не узнали ваших лиц на злопыхательских фотографиях, отобранных у иностранных туристов в ГУМе? Узнали! Специально им позируете, Ланге? Для этого сколачиваете группы недовольных?

– Ах, вот как вы повертываете? – говорю. – Только не прите на буфет. Вы его сломали. Разговор с вами продолжать не желаю. Действия ваши считаю противозаконными. Пишите протокол обыска и покиньте наш дом. Иначе я сам позвоню вашему генералу и тоже сообщу куда следует.

– Куда? – поинтересовался хмырина.

– Пишите протокол, – сказал я. Мне было скучно и отвратительно беседовать с легавым, растерянным из-за полного непонимания, как ему быть дальше. – Пишите и выматывайтесь, дайте отдохнуть рабочему человеку.

– Зря вы так, Ланге, разговариваете с нами, зря, – сказал хмырина. – Пожалеете ведь еще об этом.

– Вот о чем не пожалею, о том не пожалею. Я еще, по-моему, слишком вежлив, особенно с вами, гражданин старшой.

Хмырина запылал, поняв, на что я намекаю. Тут вернулась из сортира Таська и, как у себя дома, расселась на диване. Видно, происходившее было ей интересно, как представ-

ление в театре. Физкультурник же по-прежнему клевал носом. Хмырина сел за стол и разложил какие-то бумаги. Вы теперь понимаете, дорогие, что я не ошибся? Понимаете, что обыск явно был связан с моим откровенным разговором с Жоржиком? Вы понимаете, как эти полновластные в течение шестидесяти лет жоржики, привыкшие к рабскому отдрессированному поведению своих подданных, яреют вдруг от несогласия с ними, от вольного изложения своей точки зрения, от намека на существование в тебе чувства собственного достоинства, от бесстрашия и отсутствия в словах и манерах рабской почтительности? Они яреют и, не гнушаясь никакими, даже самыми мелкими подлостями, которыми зачастую брезгуют наши младшие братья – животные, стараются заткнуть твой правдивый рот, искровавить твои осмелившиеся противоречить губы, стараются изничтожить в зародыше твой протест против лжи и харкнуть в твои глаза, чтобы ты не замечал, сволочь, в дальнейшем того, что считается жоржиками несущественным и нежелательным.

Я опять отвлекся. Извините. Пора переходить к основным событиям того дня, изменившим и поставившим на попа мою жизнь и судьбу. Итак, хмырина соображал, мне это было ясно, чт? ему доложить Карпову, а я еще подлил масла в огонь, сказав:

– Чего вам беспокоиться? Вы ведь много сегодня успели.

– Диссидент ты проклятый, Давид, и сионист, вот ты кто, – поняв мой намек, сказала Таська. Но это были беззлобные слова.

– Понятая, – сказал Таське хмырина, – пересчитайте количество самогона, укрытое в квартире Ланге.

– Одна я не справлюсь. Мы плохо считаем и только до трех, – заозорничала кокетливо Таська.

– Возьмите, понятая, с собой на подмогу вашего мужа, – сказал хмырина.

– Если хочешь знать, – сказала Таська с глубокой обидой, – я не понятая какая-нибудь, а непонятая! Понял?

– С самогона этого вы не разживетесь, – сказал я.

– Разживемся. Дело фактики любит, иногда самые вроде бы неприметные, – отозвался хмырина, начав заполнять протокол.

И тут я услышал дрожащий голос Веры:

– Это не наше! Я ничего не знаю! Это – не наше!

Я закрыл глаза уже не от дурного предчувствия, а от ощущения настоящей беды, хотя не мог понять, лихорадочно соображая в то мгновение, что так сильно испугало мою Веру. И когда Гнойков с экземной физиономией, расплывшейся от похабного удовольствия, вошел в комнату, держа в руках амбарную для записей, я не хотел в первый миг поверить, что это та самая книга, в которую я записывал несколько лет интересные рассуждения Федора на разные жизненные и политические темы. Я с колотящимся сердцем уговаривал себя: не она, не она... не она.

Ведь эту амбарную у меня выпросил Вова, чтобы познакомить своих друзей с мыслями Федора, которые сам он никогда не записывал, несмотря на мои неоднократные попытки изменить его отношение к плодам своего ума и опыта собственной тяжелой жизни.

Ах проклятый Вова, ах мерзавец, щенок, растяпа, подлый обалдуй, ты подвел под монастырь родного отца на старости его лет! Почему ты не увез ее?

Почему? Убью! Убью! Убью! Вот отсижу свое, освобожусь и убью тебя, бессердечную дрянь, своими отцовскими руками и вовек не прощу такого погибельного для всех нас распиздяйства (это слово, дорогие, к сожалению, непереводаемо).

Думая так, я был вне себя от бешенства, горя, страха и невозможности быстро сообразить: как же мне теперь быть, старой безмозглой жопе? Как же мне быть? Притом я старался не выдать своим видом, что за крематорий пылает в моей душе. А первый хмырина буквально

зарылся носом в амбарную тетрадь, что-то вычитывал, перелистывал, торжествуя и злорадствуя, поглядывал на меня, затем как бы сочувственно сказал:

– О-хо-хо, Давид Александрович, о-хо-хо! – Снял трубку, набрал номер, заслонив от меня диск аппарата, подождал и будничным голосом, в котором только я мог тогда различить самодовольную радость предчувствия кровавого пиршества и звериное урчание, доложил:

– Говорит Скобликов. Да... Вы были правы. Хорошо. Сейчас оформим протокол.

После этого хмырина положил трубку. Из каждого его движения сочилась охотничья удача, он словно бы перестал замечать меня, снова углубившись в чтение проклятой амбарной книги.

– Ваш почерк? – спросил хмырина.

– Мой, – ответил я.

– Мысли тоже ваши? Подумайте, перед тем как ответить, чтобы потом не менять свои показания.

Думать мне, дорогие, было нечего, как на войне. Но я молчал, и хмырина мог при желании истолковать мое молчание как муку раздумья и бешеное метание от одного выбора к другому, метание загнанного зверя в поисках спасительного выхода из загона. Я молчал от сдавившей горло неизбежности принятия единственного из всех возможных решений. И я бы проклял свою душу, если бы в тот миг просто так позволил себе хотя бы вообразить иным свое поведение, не говоря уж о его последствиях. И я имею право заявить вам, что человек, заслуженно считающий себя порядочным человеком, не нуждается в долгих раздумьях, как ему следует поступать в крайних случаях, когда откупиться от тюрьмы и гибели ценою предательства.

– По-моему, дураку должно быть понятно, что раз почерк мой, то и мысли мои, – сказал я спокойно, и мне моментально стало ясно, что нечего испытывать еврейские муки с посыпанием головы пеплом, проклятиями, истошным завыванием и соблазнительными представлениями о том, как прекрасна была бы и беззаботна жизнь, если бы ты, мудила грешный, оказался ранее чуточку мудрей и чуточку предусмотрительней. Это стало мне ясно. А раз охота, то я, господа, не воробей, я бывший солдат, и сцапать меня мало, меня еще надо повязать, чтобы потом взять за горло и удавить, а это не так просто, уверяю вас, не так просто.

– Вера, – обратился я при всех к своей жене, – если сию секунду в твоих глазах не загорится жизнь, если ты еще раз хрустнешь пальцами, которые не знаешь куда деть, если ты не бросишь приготовлений к моей гражданской смерти, если ты позволишь этим людям и впредь испытывать удовольствие от твоего горя и нашей беды, то я обломаю остатки прабабушкиного буфета о твои ребра. Я тебе это твердо обещаю.

– Хорошо! Хорошо! Все будет по-твоему.

– А вы знаете, Ланге, – сказал хмырина, – что вы правы. Дураку все это, воз, понятно. Но не дураку, простите, непонятно. Не ваши это мысли, не ваши. Чем дальше читаю, тем больше, несмотря на чтение беглое и невнимательное, убеждаюсь в этом. Не ваши мысли. Почерк, конечно, сличим, а мысли не ваши. Попросите третьего понятного, – приказал хмырина своим подручным.

Мне уже было наплевать, что сейчас снова явится в мой дом застенная крыса нажраться от пуза мстительной радостью, поняв, что погорел ненавистный ей человек довольно серьезно, так серьезно, что, воз, надолго перестанет быть ее, крысы и стукача, соседом.

– Что тебе с собой приготовить? – спросила Вера голосом жены, собирающей мужа в Кремль для получения ордена Ленина за самоотверженный труд.

Хмырина улыбнулся, а Гнойков продолжал самоуверенно и нагло, после долгожданного успеха, шнырять по полкам, закуткам и исследовать с помощью лупы плинтусы.

Сам я думал исключительно о том, что Федор, узнав сущность дела, поперет как танк доказывать свое авторство, с тем чтобы меня освободили, а его ко всем чертям забрали и осу-

дили. Думать об этом было ужасно. Он же не знал, что я записываю его мысли, как Петька записывал мысли Чапаева, когда Чапаев, наговорившись вечером за рюмкой водки, ложился спать под бурку (походный плед), не знал Федор, что я лелеял мечту сохранить эти мысли для людей и когда-нибудь, с его разрешения, пустить по рукам в самиздате. В амбарной книге было много замечательных мыслей. От каждой из них у политических руководителей глаза полезли бы на лоб, если, разумеется, они поняли бы их.

Но как понять простейшие и очевидные вещи тем, кто давно оторвался от реальной жизни. Об этом соответственно не раз рассуждал Федор. Я, после того как мы прощались и он уходил, доставал амбарную и на память, иногда два-три часа подряд, записывал, стараясь не пропустить ни словечка, даже то, чего я до конца, по своей необразованности пролетарской, не понимал. Нет! Я не мог в те минуты представить лицо Федора, представить взгляд его глаз, повидавших на своем веку столько, что другой давно надорвался бы, и ко всему прочему нежданно-негаданно имеющих цыганское счастье увидеть дело рук своего преданного друга, нечаянное дело заботливых рук, движимых исключительно почтением к тому, что, на мой взгляд, обязано принадлежать людям.

Разумеется, я бушевал бы на очной ставке, и Федору при всем его желании не удалось бы доказать своего авторства. Как бы он его доказал? Утверждением, для меня не обидным, что я человек недалекий – при всей моей честности и доброте? Тем, что любая экспертиза может подтвердить отсутствие у меня философских способностей и знаний? В общем, я почувствовал тогда, что упала частично гора с моих плеч. Не обманут я предчувствиями, теперь нужно расхлебывать кашу, а не питюкать (ныть и упрекать судьбу) и, собравшись с силами, выдерживать ее удары. Так я и решил, если спросит меня однажды Федор одними глазами: «Что ты наделал?» – я попрошу его позволить великодушно мне самому за все расплатиться, а этого байстрюка, эту ученую харю, этого паскудного молокососа Вову... я не знал, что я сделал бы, окажись он в тот момент под моей рукою! Зубы вышиб бы, измордовал бы в кровь, чтобы до гроба помнил об ответственности, мерзавец и предатель, и можете сколько вам хочется возмущаться моей строгостью и жестокостью. Потом я подумал, что в конечном счете во всем виноват я один. Я, подлец, виноват, летописец хренов, виноват во всем, и слава тебе, господи, что догадался я не называть в записях ни одного имени, ни единой фамилии, кроме Ленина, Сталина, Никиты, Брежнева, Гитлера, Берии, Косыгина, Суслова, Че Гевары, Мао, Маркса (Кырлы Мырлы) и Филонова.

Филонов – поясню – был участковым ментом в центре города. Держиморда страшная. Зверствовал на своем участке, как тигр в джунглях. Шил дела, врвался незаконно в квартиры, бил детей и подростков за нарушение тишины, конфисковывал самогон, вымогал взятки у цветочных спекулянтов, чистильщиков сапог, продавщиц пива и кваса, – одним словом, гулял по буфету. Весь наш чуткий на ловлю слухов город вдруг просыпается и узнает, что ночью Филонов собственноручно расстрелял всю свою семью из служебного пистолета, зачитав ей предварительно приговор, который сам же написал безграмотной рукою.

Приговор этот потом кто-то перепечатал и распространил. Вот его приблизительный текст: «Именем союза работников карательных органов... служебный суд городского изолятора в лице старшего участкового Филонова приговорил за все прошлые и будущие преступления к высшей мере социальной защиты – расстрелу через повешение – следующих товарищей: Филонову А. А., Филонова Б. А., Филонову Р. А. и Филонова К. Л. Он же счел возможным в связи с преклонным возрастом заменить Пологовой К. Л. высшую меру пожизненным наказанием.

Приговор приведен в исполнение 4.04.1971 года в 03 часа 00 минут по моск. вр. ст. упол. Ф...в».

Видать, участковый торопился после казни и прибегал к сокращениям. Его девяностолетняя теща была свидетельницей этой жуткой истории. На следствии выяснилось, что Филонов

распивал с семьей с самого вечера чачу, преподнесенную ему неизвестным с одним золотым передним зубом и иностранным акцентом. В чачу была подмешана настойка белены. Объявшись ею, Филонов и очумел. Выжившая теща показала, что участковый регулярно пил и, выпив, грозил перестрелять всех к чертовой матери, начиная... С кого именно он хотел начать массовые расстрелы, так и осталось невыясненным, хотя на следствии Филонов был, что называется, открытой рубахой-парнем и ничего не утаивал. Ходили слухи, что он объяснил свое соучастие в злоупотреблении служебным положением (так он сам квалифицировал преступление) «звучанием в ушах и прочих органах слуха строгого приказа: расстрелять к чертовой матери, и что было приведено в исполнение без обжалования и последних слов».

Филонова навечно поместили в нашу новую, известную теперь во всем мире психушку. Там он и живет до сих пор, работая санитаром в спецотделении, где держат людей, которых политруки считают сумасшедшими за их нормальное отношение к нашей безумной действительности. Хорошенького санитаря назначили к здоровым и честным людям, не правда ли? Но самое странное в этой истории вот что. Девяностолетняя теща продолжала жить-поживать, пуская за деньги на ночевку грузинских цветочников в широких кепках и с бешеными деньгами. И вот в один прекрасный день по городу нашему, населенному людьми нового типа, пополз интереснейший слух: Филониха старая замуж выходит. Жених старше ее на пятнадцать лет и занесен в какую-то международную то ли Белую, то ли Красную как выдающийся долгожитель.

Разумеется, все мы понимали, что за сватовством Филонихи стоят крупные финансовые магнаты Грузии и чуть ли не самый первый секретарь ЦК Мжаванадзе и что цель у них у всех одна: оттяпать квартиру Филонихи из трех комнат, чтобы прописать там часть огромного семейства Валико Джаджелавы.

Предполагалось, что в дальнейшем оно усилит наступление на жилфонд города, потеснив очередников из местных. Наступление будет поддержано мощными банкетами, подкупом представителей горжилотдела и горкома партии.

Многочисленные внуки и правнуки долгожителя надеялись, по слухам, охмурять наших телок безмозглых, жениться, прописываться и легализовать таким образом свое тунейдское пребывание в нашем городе, торгуя цветами, орехами, гранатами, кинзой, укропом, петрушкой, сезонными фруктами, маринованным чесноком, перцем и черемшой.

Вы бы посмотрели, дорогие, что творилось в день свадьбы у загса Ленинского района, вы бы посмотрели! Не могу, несмотря на лишнее отступление, не вспомнить об этом. «Жигулей» и «Волг» прибыло в наш город столько, что на колонках не хватало бензина. На местном военно-спортивном аэродроме приземлился двухмоторный самолет. Есть свидетели, видевшие, как из самолета выгружались парные поросята, клетки с цыплятами, корзины с зеленью и фруктами, огромные бутылки белого и красного вина, цветы, ковры, тушки барашков, головки сыра, казаны, мангалы, древесный уголь для них, грецкие орехи, банки с пряностями, говяжьи ноги для хаша, которые в народе зовут «босоножками Брежнева», и прочую снедь. Последним из самолета вылез гигант и красавец повар. За ним захлопнулась дверь черной «Чайки». В сопровождении таких же черных «Волг» «Чайка» полетела в наш город. Впереди нее неслась милицейская шмакодявка с сиреной, сгоняя на обочины колдоебинного (щербатого) шоссе грузовики, мотоциклистов и пешеходов. С таким шиком и эскортом к нам приезжали только члены политбюро и однажды сам Косыгин. Его завели, помню, в подготовленный гастроном, показали прилавки, набитые всеми продуктами, и внушили, что город наш снабжается бесперебойно, а жалобщики в высокие инстанции с жиру бесятся и от разврата хер за мясо не считают.

Так вот, для предупреждения возможных волнений среди обывателей гости из Грузии купили целую телепередачу, в которой рассказывалось о долгой трудовой и семейной жизни Валико Джаджелавы. Мы ровно час рассматривали на экране фотографии славных горцев, их

родственников, пейзажи красавицы Грузии и букеты различных цветов, пользующихся огромным спросом в нашем прокопченном городе. Затем жених внятно рассказал, как во время пребывания в гостях у правнучатой внучки – главного гинеколога области – он встретил на улице имени решений XXV съезда Пологову Аглаю Васильевну, стоявшую в очереди за говяжьим выменем, и полюбил ее с первого взгляда. Естественно, после этого он как человек чести предложил Аглае Васильевне руку и сердце. После интервью с женихом телеоператор пригласил нас в трехкомнатную квартиру невесты, в которой на одной из стен власти еще не успели заштукатурить дыры от нелепых пуль участкового Филонова. Квартира была что надо. В нее уже вносили кухонный, спальный, кабинетный и столовый гарнитуры. Сантехники меняли сантехнику отечественную на финскую. Невзрачные белые рамы в запекшихся шкварках масляной краски обновлялись и красились под дуб.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.